

Лэ [баллады] Древнего Рима

Барон Томас Бабингтон Маколей Маколей

Lays of Ancient Rome

Baron Thomas Babington Macaulay



The Project Gutenberg eBook of Lays of Ancient Rome.

Эта электронная книга предназначена для использования любым человеком в любой точке Соединенных Штатов и большинстве других частей света без каких-либо затрат и почти без ограничений. Вы можете копировать ее, дарить или использовать повторно на условиях Лицензии Проекта Гутенберга, прилагаемой к этой электронной книге или на сайте www.gutenberg.org. Если вы находитесь не в Соединенных Штатах, то перед использованием этой электронной книги вам придется ознакомиться с законодательством страны, в которой вы находитесь.

Название: Lays of Ancient Rome

Автор: Барон Томас Бабингтон Маколей

Дата выхода: 21 января 2006 [eBook #847]

Последнее обновление: 26 января 2018 г.

Язык: Английский

Кредиты: Продюсеры: Дэвид Рид и Дэвид Уиджер

*** НАЧАЛО ПРОЕКТА GUTENBERG EBOOK LAYS OF ANCIENT ROME ***

БАЛЛАДЫ ДРЕВНЕГО РИМА

Томас Бабингтон Маколей

Содержание

Гораций

Битва при озере Региллус

Виргилий

Пророчество Каписа

То, что так называемая история царей и первых консулов Рима в значительной степени баснословна, мало кто из ученых со времен Бофора осмеливался отрицать. Несомненно, что более чем через триста шестьдесят лет после даты, которую принято считать датой основания города, государственные записи были, за редким исключением, уничтожены галлами. Несомненно, что древнейшие анналы содружества были составлены более чем через полтора столетия после уничтожения записей. Поэтому несомненно, что великие латинские писатели эпохи Августа не обладали этими материалами, без которых невозможно составить достоверный рассказ о младенчестве республики. Эти писатели признают, что хроники, к которым они имели доступ, были наполнены битвами, которые никогда не происходили, и консулами, которые никогда не вступали в должность; и у нас есть множество доказательств того, что в этих хрониках события величайшей важности, такие как исход войны с Порсеной и исход войны с Бреннусом, были грубо искажены. В этих условиях мудрый человек с большим подозрением отнесется к дошедшей до нас легенде. Возможно, он будет склонен считать принцев, которые, как говорят, основали гражданские и религиозные институты Рима, сыновей Марса и мужа Эгерии, просто мифологическими персонажами, принадлежащими к тому же классу, что и Персей и Иксион. По мере приближения к границам достоверной истории он будет все меньше и меньше верить. Он признает, что наиболее важные части повествования имеют под собой определенную основу. Но почти ко всем деталям он отнесется с недоверием, не только потому, что они редко опираются на твердые доказательства, но и потому, что он будет постоянно обнаруживать в них, даже когда они находятся в пределах физической возможности, тот особый характер, который легче понять, чем определить, и который отличает творения воображения от реалий мира, в котором мы живем.

Ранняя история Рима действительно гораздо более поэтична, чем все остальное в латинской литературе. Любовь весталки и бога войны, колыбель среди тростника Тибра, смоковница, волчица, хижина пастуха, признание, братоубийство, изнасилование сабинянок, смерть Тарпеи, падение Хостуса Хостилия, борьба Меттуса Курция через болото, женщины, метавшиеся с разорванными одеждами и всклокоченными волосами между своими отцами и мужьями, ночные встречи Нумы и нимфы у колодца в священной роще, борьба трех римлян с тремя альбанами, покупка сивиллиных книг, преступление Туллия, симулированное безумие Брута, двусмысленный ответ дельфийского оракула Тарквиниям, злодеяния Лукреции, героические поступки Горация Кокла, Скаэвола и Клолия, битва при Регилле, выигранная с помощью Кастора и Поллукса, защита Кремеры, Трогательная история Кориолана, еще более трогательная история Virgiliana, дикая легенда об осушении Альбанского озера, сражение Валерия Корвуса с гигантским галлом - вот те многочисленные примеры, которые сразу же придут на ум каждому читателю.

В повествовании Ливия, который был человеком с прекрасным воображением, эти истории сохранили большую часть своего подлинного характера. Даже безвкусный Дионисий не смог исказить и изуродовать их, превратив в прозу. Поэзия сияет, несмотря на него, сквозь унылый педантизм его одиннадцати книг. Она заметна в самых утомительных и самых поверхностных современных работах о ранних временах Рима. Она оживляет скучную "Всеобщую историю" и придает очарование самым скудным сокращениям Голдсмита.

Даже в эпоху Плутарха находились проницательные люди, которые отвергали популярный рассказ об основании Рима, потому что этот рассказ казался им похожим не на историю, а на роман или драму. Плутарх, раздосадованный их недоверчивостью, не нашел ничего лучшего в ответ на их доводы, как сказать, что случай иногда обращается к поэту и создает цепочки событий, не отличимые от самых продуманных сюжетов, построенных искусством. Но хотя существование поэтического элемента в ранней истории Великого города было обнаружено много веков назад, первым критиком, который отчетливо увидел, из какого источника этот поэтический элемент был получен, был Джеймс Перизониус, один из самых острых и ученых антикваров семнадцатого века. Его теория, которая в его время практически не привлекала внимания, была возрождена в нынешнем поколении Нибуром, человеком, который мог бы стать первым писателем своего времени, если бы его талант доносить истины был хоть немного соразмерен с его талантом их исследовать. Эта теория была принята несколькими выдающимися учеными нашей страны, в частности епископом Сент-Дэвидса, профессором Мальде и покойным Арнольдом. Похоже, что в настоящее время она в целом принята людьми, знакомыми с классической древностью; и действительно, она опирается на такие сильные доказательства, как внутренние, так и внешние, что ее нелегко будет опровергнуть. Популярное изложение этой теории и доказательств, которыми она подкреплена, может быть небезынтересно даже для читателей, не знакомых с древними языками.

Латинская литература, дошедшая до нас, относится к более позднему времени, чем начало Второй Пунической войны, и состоит почти исключительно из произведений, созданных по греческим образцам. Латинский метр, героический, элегический, лирический и драматический, имеет греческое происхождение. Лучшая латинская эпическая поэзия - слабое эхо "Илиады" и "Одиссеи". Лучшие латинские эклоги - подражание Феокриту. План самой законченной дидактической поэмы на латинском языке был заимствован у Гесиода. Латинские трагедии - плохие копии шедевров Софокла и Еврипида. Латинская философия была заимствована, без изменений, из Портика и Академии; великие латинские ораторы постоянно предлагали себе в качестве образцов речи Демосфена и Лисия.

Но существовала и более ранняя латинская литература, литература истинно латинская, которая полностью исчезла, более того, почти полностью исчезла задолго до рождения тех, кого мы привыкли считать величайшими латинскими писателями. Эта литература изобиловала метрическими романсами, такими, какие встречаются в каждой стране, где много любопытства и ума, но мало чтения и письма. Все люди, не будучи дикарями, жаждут получить информацию о прошлых временах и с удовольствием слушают рассказы, представляющие картины для ума. Но только в очень просвещенных сообществах книги легко доступны. Поэтому метрическая композиция, которая в высокоцивилизованной нации является просто роскошью, у несовершенно цивилизованных народов является почти жизненной необходимостью, и ценится не столько из-за удовольствия, которое она доставляет слуху, сколько из-за помощи, которую она оказывает памяти. Человек, который может придумать или приукрасить интересную историю и облечь ее в форму, которую другие могут легко сохранить в памяти, всегда будет высоко цениться народом, жаждущим развлечений и информации, но лишенным библиотек. Таково происхождение поэзии баллад, вида композиции, который едва ли не всегда не зарождается и не расцветает в каждом обществе на определенном этапе прогресса к утонченности. Тацит сообщает нам, что песни были единственной памятью о прошлом, которой обладали древние германцы. От Лукана и Аммиана Марцеллина мы узнаем, что храбрые деяния древних галлов были запечатлены в стихах бардов. На протяжении многих веков и революций менестрели сохраняли свое влияние как на тевтонскую, так и на кельтскую расу. Месть супруги Аттилы за

убийство Зигфрида была воспета в рифмах, которыми до сих пор по праву гордится Германия. Подвиги Ательстана англосаксы и датчане воспевали в грубых поэмах, из которых до нас дошло несколько фрагментов. Песнопения валлийских арфистов сохранили в веках тьмы слабую и сомнительную память об Артуре. В горных районах Шотландии до сих пор можно найти некоторые реликты старых песен о Кутуллине и Фингале. Длительная борьба сервов с Османской державой была записана в стихах, полных боевого духа. От Эрреры мы узнаем, что, когда умирал перуанский инка, назначались искусные люди, чтобы воспеть его в стихах, которые весь народ заучивал наизусть и пел прилюдно в дни праздников. Подвиги Курроглу, великого вольного разбойника Туркестана, пересказанные в балладах, сочиненных им самим, известны в каждой деревне северной Персии. Капитан Бичи слышал, как барды Сандвичевых островов рассказывали о героических достижениях Тамехамехи, самого прославленного из их королей. Мунго Парк нашел в сердце Африки группу поющих людей, единственных летописцев своих грубых племен, и услышал от них историю победы, которую Дамель, негритянский принц Джалоффов, одержал над Абдулкадером, мусульманским тираном Фута-Торра. Этот вид поэзии достиг высокой степени совершенства среди кастильцев, прежде чем они начали копировать тосканские образцы. Еще более высокой степени совершенства она достигла у англичан и шотландцев, живших в низинах, в XIV, XV и XVI веках. Но полного совершенства она достигла в Древней Греции, ибо нет никаких сомнений в том, что великие гомеровские поэмы в целом являются балладами, хотя и отличаются от всех других баллад, да и почти от всех других человеческих произведений, трансцендентной возвышенностью и красотой.

Как согласуется с общим опытом, что на определенном этапе развития общества балладная поэзия должна процветать, так же согласуется с общим опытом, что на последующем этапе развития общества балладная поэзия должна быть недооценена и пренебрежена. Знания развиваются, нравы меняются, великие иностранные образцы композиции изучаются и подражаются. Фразеология старых менестрелей устаревает. Их стихосложение, которое, получив свои законы только от слуха, изобилует нарушениями, кажется развратным и неотесанным. Их простота кажется убогой по сравнению с причудливыми формами и броскими красками таких художников, как Коули и Гонгора. Древние баллады, незаслуженно презируемые учеными и вежливыми людьми, на какое-то время остаются в памяти вульгарных, а затем слишком часто безвозвратно теряются. Мы не можем удивляться тому, что баллады Рима полностью исчезли, если вспомним, как мало, несмотря на изобретение книгопечатания, избежали той же участи баллады нашей страны и Испании. Не приходится сомневаться, что забвение покрывает многие английские песни, не уступающие ни одной из тех, что были опубликованы епископом Перси, и многие испанские песни, не уступающие лучшим из тех, что были так удачно переведены мистером Локхартом. Восемьдесят лет назад Англия обладала лишь одним потрепанным экземпляром "Чайльд Уотерса" и "Сэра Каулина", а Испания - лишь одним потрепанным экземпляром благородной поэмы о Сиде. Свеча или шаловливая собака могли в одно мгновение навсегда лишить мир любого из этих прекрасных произведений. Сэр Вальтер Скотт, соединивший в огне великого поэта минутное любопытство и терпеливое усердие великого антиквара, как раз вовремя успел спасти драгоценные реликвии пограничных менестрелей. В Германии сказание о Нибелунгах было уже давно полностью забыто, когда в XVIII веке оно впервые было напечатано с рукописи, хранившейся в старинной библиотеке одной знатной семьи. По правде говоря, единственным народом, который на протяжении всего своего пути от простоты к высочайшей цивилизации ни на минуту не переставал любить и восхищаться своими старыми балладами, были греки.

То, что ранние римляне должны были иметь поэзию баллад, и то, что эта поэзия должна была исчезнуть, не является странным. Напротив, было бы странно, если бы эти события не произошли; и мы были бы вправе назвать их весьма вероятными, даже если бы у нас не было прямых доказательств на этот счет. Но у нас есть прямые свидетельства, пользующиеся непререкаемым авторитетом.

Энний, процветавший во времена Второй Пунической войны, считался в эпоху Августа отцом латинской поэзии. По сути, он был отцом второй школы латинской поэзии, единственной школы, произведения которой дошли до нас. Но от самого Энния мы узнаем, что были поэты, которые стояли к нему в том же отношении, в каком автор романа графа Аларкоса стоял к Гарсиласо или автор *Lytell Geste* Робин Ход к лорду Суррею. Энний говорит о стихах, которые фавны и барды были склонны распевать в старые времена, когда никто еще не изучал грации речи, когда никто еще не взбирался на вершины, священные богиням греческой песни. "Где, - скорбно спрашивает Цицерон, - теперь эти старые стихи?"

Современником Энния был Квинт Фабий Пактор, самый ранний из римских летописцев. Его рассказ о младенчестве и юности Ромула и Рема сохранился у Дионисия и содержит весьма примечательную ссылку на древнюю латинскую поэзию. Фабий утверждает, что в его время его соотечественники все еще имели привычку петь баллады о близнецах. "Даже в хижине Фаустула, - так, по-видимому, звучали эти старинные причитания, - дети Реи и Марса были в порту и по духу не похожи на свинопасов или коров, но такие, что люди вполне могли догадаться, что они из крови царей и богов".

Катон Цензор, живший во времена Второй Пунической войны, упоминает об этой утраченной литературе в своем утерянном труде о древностях своей страны. По его словам, за много веков до его времени существовали баллады, восхваляющие знаменитых людей, и эти баллады гости на пирах имели обыкновение петь по очереди, пока играл волынщик. "Если бы, - восклицает Цицерон, - у нас еще были старые баллады, о которых говорит Катон!"

Валерий Максим дает нам точно такую же информацию, не называя своего авторитета, и замечает, что древнеримские баллады, вероятно, приносили больше пользы молодым, чем все лекции афинских школ, и что влиянию национальной поэзии следует приписать добродетели таких людей, как Камилл и Фабриций.

Варро, чей авторитет по всем вопросам, связанным с древностями его страны, заслуживает величайшего уважения, рассказывает, что когда-то на банкетах было принято, чтобы мальчики пели, иногда с инструментальной музыкой, а иногда и без нее, древние баллады, восхваляющие людей былых времен. Эти молодые исполнители, замечает он, отличались безупречным характером, и это обстоятельство он, вероятно, упоминает потому, что среди греков, а в его время и среди римлян, нравственность поющих мальчиков не пользовалась большой популярностью.

Свидетельство Горация, хотя и приведенное вскользь, подтверждает утверждения Катона, Валерия Максима и Варро. Поэт предсказывает, что при мирном правлении Августа римляне за полными кубками будут петь в трубы, по примеру своих отцов, подвиги храбрых полководцев и древние легенды, связанные с происхождением города.

Таким образом, предположение о том, что в Риме существовала поэзия баллад, не просто весьма вероятно, но и полностью подтверждается прямыми доказательствами, имеющими огромный вес.

Установив это положение, легко понять, почему ранняя история города не похожа почти на все остальное в латинской литературе, родная там, где почти все остальное заимствовано, образная там, где почти все остальное прозаично. Можно без колебаний утверждать, что великолепные, патетические и поистине национальные легенды, представляющие столь разительный контраст со всем, что их окружает, - это разбитые и изуродованные фрагменты той ранней поэзии, которая даже в эпоху Катона Цензора стала антикварной и о которой Туллий не слышал ни строчки.

То, что эта поэзия была предана забвению, не покажется странным, если учесть, насколько полным был триумф греческого гения над общественным сознанием Италии. Вероятно, в ранний период Гомер и Геродот давали некоторые намеки латинским менестрелям; но только после войны с Пирром поэзия Рима начала избавляться от своего старого авзонийского характера. Вскоре трансформация была завершена. Завоеванные, говорит Гораций, вели в плен завоевателей. Именно в то время, когда римский народ возвысился до непревзойденного политического превосходства, он опустил до того, чтобы попасть под интеллектуальное иго. Именно в то время, когда скипетр отошел от Греции, империя ее языка и искусств стала всеобщей и деспотичной. Революция действительно произошла не без борьбы. Невий, похоже, был последним из древнего рода поэтов. Энний стал основателем новой династии. Невий воспел Первую Пуническую войну в сатурнианском стихе, старом национальном стихе Италии. Энний воспел Вторую Пуническую войну в номерах, заимствованных из "Илиады". Старший поэт в эпитафии, которую он написал для себя и которая является прекрасным образцом раннеримской дикции и стихосложения, простенько похвастался, что латинский язык умер вместе с ним. Таким образом, то, что Горацию казалось первым слабым рассветом римской литературы, Невию показалось ее безнадежным закатом. На самом же деле одна литература заходила, а другая рассветала.

Победа иностранного вкуса была решающей; и действительно, мы вряд ли можем винить римлян за то, что они с презрением отвернулись от грубых сказаний, восхищавших их отцов, и отдали все свое восхищение бессмертным произведениям Греции. Национальные романы, которыми пренебрегали великие и утонченные люди, чье образование было завершено на Родосе или в Афинах, продолжали, как можно предположить, в течение нескольких поколений радовать вульгарных людей. Пока Вергилий в гекзаметрах с изысканными модуляциями описывал спортивные состязания деревенских жителей, те все еще пели свои дикие сатурнианские баллады. Не исключено, что в то время, когда Цицерон оплакивал невозполнимую утрату стихов, упомянутых Катонем, поиски в закоулках Аппенин, столь же активные, как и поиски, которые сэр Вальтер Скотт вел среди потомков меченосцев из Лиддесдейла, могли бы обнаружить множество прекрасных остатков древней менестрельной песни. Но таких поисков не было. Латинские баллады исчезли навсегда. Однако проникательные критики полагали, что в ранней истории Рима все еще можно обнаружить многочисленные фрагменты этой утраченной поэзии, как путешественник по классическим местам иногда находит встроенную в тяжелую стену форта или монастыря колонну с листьями аканта или фриз, на котором, кажется, живут амазонки и вакханки. Театры и храмы греков и римлян превратились в каменоломни турок и готов. Так и древняя сатурнианская поэзия стала каменоломней, в которой толпа ораторов и анналистов нашла материал для своей прозы.

Нетрудно проследить процесс, в ходе которого старые песни трансформировались в ту форму, которую они имеют сейчас. Погребальный панегирик и хроника, по-видимому, были промежуточными звеньями, соединявшими утраченные баллады с дошедшими до нас историями. С самого раннего периода было принято произносить ораторию над останками

знатного римлянина. Оратор, как мы узнаем от Полибия, должен был в таких случаях перечислить все заслуги, которые предки покойного с древнейших времен оказывали обществу. Можно не сомневаться, что оратор, на которого возлагалась эта обязанность, использовал все подходящие для его цели истории, которые можно было найти в народных преданиях. Так же мало сомнений в том, что семья выдающегося человека сохранила бы копию речи, произнесенной над его трупом. Составители ранних хроник прибегали к этим речам, а великие историки более позднего периода - к хроникам.

Возможно, стоит выбрать конкретную историю и проследить ее вероятный путь через эти этапы. Описание переселения дома Фабиев в Кремеру - одно из лучших среди множества прекрасных отрывков, которыми полны ранние книги Ливия. Консул, облаченный в военное одеяние, стоит в вестибюле своего дома, собирая свой род, триста шесть боевых мужчин, все одной гордой патрицианской крови, все достойные носить фасции и командовать легионами. Печальная и встревоженная свита друзей сопровождает авантюристов по улицам, но голоса причитаний заглушаются криками восхищенных тысяч. Когда процессия проходит мимо Капитолия, звучат молитвы и клятвы, но тщетно. Преданная группа, оставив Януса справа, идет на верную гибель через Ворота злой удачи. Совершив доблестные подвиги против подавляющего числа людей, все погибают, кроме одного ребенка, из которого должен был возродиться великий род Фабиев во имя безопасности и славы содружества. То, что этот прекрасный роман, детали которого так полны поэтической правды и так совершенно лишены всякого намека на историческую достоверность, был создан на основе какого-то сказания, которое часто пели на банкетах под бурные аплодисменты, в высшей степени вероятно. Также несложно представить способ, которым могла происходить передача. Прославленный Квинт Фабий Максим, умерший примерно за двадцать лет до Первой Пунической войны и более чем за сорок лет до рождения Энния, как говорят, был похоронен с необычайной пышностью. В надгробной речи, произнесенной над его телом, несомненно, были пересказаны и преувеличены все великие подвиги его предков. Если в то время существовали песни, в которых давалось яркое и трогательное описание события, самого печального и самого славного в долгой истории дома Фабиев, то ничто не могло быть более естественным, чем то, что панегирист заимствовал из таких песен их лучшие штрихи, чтобы украсить свою речь. Через несколько поколений эти песни, возможно, будут забыты, или о них будут помнить только пастухи и виноградари. Но речь, несомненно, сохранилась бы в архивах фабианской знати. Фабий Пиктор был хорошо знаком с документом, столь интересным для его личных чувств, и вставил большие выдержки из него в свою грубую хронику. Эта хроника, как мы знаем, была самой старой из тех, к которым имел доступ Ливий. Ливий с первого взгляда выделил бы смелые штрихи забытого поэта из тусклого и слабого повествования, которым они были окружены, отретушировал бы их тонким и сильным карандашом и сделал бы бессмертными.

В том, что это может произойти в Риме, вряд ли можно сомневаться, ведь нечто подобное уже случалось в нескольких странах, в том числе и в нашей. Пожалуй, теорию Перизониуса нельзя проиллюстрировать лучше, чем показав, что то, что, по его предположению, происходило в древности, вне всякого сомнения, происходит и в наше время.

"История, - говорит Хьюм с величайшей серьезностью, - сохранила несколько примеров любовных походов Эдгара, по которым, как по образцу, мы можем составить предположение об остальных". Затем он с большим удовольствием рассказывает истории Эльфледы и Эльфриды, две истории, которые имеют очень подозрительный оттенок романтики, и которые, действительно, очень напоминают по своему характеру некоторые легенды раннего Рима. В качестве источника этих двух историй он приводит хронику Уильяма

Мальмсберийского, жившего во времена короля Стефана. Большинство читателей полагают, что устройство, с помощью которого Эльфледа была подменена своей молодой хозяйкой, хитрость, с помощью которой Ательвольд добился руки Эльфриды, раскрытие этой хитрости, охота и месть короля-любовника - это вещи, в которых сомнений не больше, чем в казни Анны Болейн или перерезании носа сэра Джона Ковентри. Но когда мы обращаемся к Уильяму Мальмсберийскому, то обнаруживаем, что Хьюм в своем стремлении рассказать эти приятные басни упустил из виду одно очень важное обстоятельство. Уильям действительно рассказывает обе истории, но он ясно дает нам понять, что не ручается за их правдивость и что они опираются не на лучший авторитет, чем баллады.

Именно так передавались эти две известные истории. Первоначально они появились в поэтической форме. Из баллад они попали в старую хронику. Баллады погибли, а летопись осталась. Один великий историк, спустя несколько веков после того, как баллады были полностью забыты, обратился к хронике. Его поразила живая окраска этих древних вымыслов: он перенес их на свои страницы; и таким образом мы находим вставленными, как неоспоримые факты, в повествование, которое, вероятно, будет жить так же долго, как английский язык, выдумки какого-то менестреля, чьи произведения, вероятно, никогда не были записаны, чье имя похоронено в забвении, а диалект стал устаревшим. Поэтому следует признать возможным или, скорее, весьма вероятным, что истории о Ромуле и Реме, а также о Горациях и Куриатти имели сходное происхождение.

Кастильская литература предоставит нам еще один параллельный случай. Мариана, классический историк Испании, рассказывает о злополучном браке, который король дон Алонсо заключил между наследниками Карриона и двумя дочерьми Сиды. Сид наделил зятьев княжеским наделом. Но молодые люди оказались подлыми и гордыми, трусливыми и жестокими. Они были испытаны опасностью и оказались несостоятельными. Они бежали перед маврами, а однажды, когда лев вырвался из своего логова, они убежали и спрятались в неприглядном месте. Они знали, что их презирают, и советовались, как им отомстить. Со многими знаками любви они расстались со своим свекром и отправились в путь вместе с доньей Эльвирой и доньей Соль. В уединенном месте женихи схватили своих невест, раздели их, подвергли бичеванию и ушли, оставив их умирать. Но один из представителей дома Бивар, заподозрив неладное, последовал за путниками, переодевшись. Девушек вернули в дом их отца в целостности и сохранности. На них пожаловались королю. Кортес постановил вернуть дары, пожалованные сидом, а наследникам Карриона вместе с одним из их сородичей сразиться с тремя рыцарями из партии сиды. Провинившиеся юноши хотели отказаться от поединка, но все их уговоры были напрасны. Они были побеждены в списках и навсегда опозорены, а их обиженных жен искали для брака великие князья.

Некоторые испанские писатели пытались показать, изучив даты и обстоятельства, что эта история не соответствует действительности. В таком опровержении, конечно, не было нужды, ведь повествование, на первый взгляд, является романтическим. Как она попала в историю Мариана, совершенно ясно. Он признает свои обязательства перед древними хрониками; несомненно, перед ним была "Хроника знаменитого кавалера Сиды Руя Диеса Кампеадора", которая была напечатана еще в 1552 году. Он не подозревал, что все самые яркие места этой хроники были скопированы из поэмы двенадцатого века, язык и стихосложение которой давно устарели, но в которой не было и доли огня "Илиады". И все же факт остается фактом. Спустя более полутора веков после смерти Марианы эта почтенная баллада, один несовершенный экземпляр которой на пергаменте четырехсотлетней давности хранился в Биваре, была впервые напечатана. Затем выяснилось, что все интересные обстоятельства истории о наследниках Карриона красноречивый иезуит

почерпнул из песни, о которой он никогда не слышал и которая была сочинена менестрелем, чье имя давно забыто.

Таким или почти таким был процесс, в ходе которого утраченная поэзия баллад Рима была преобразована в историю. Обратить этот процесс вспять, превратить некоторые фрагменты ранней римской истории обратно в поэзию, из которой они были сделаны, - вот цель данной работы.

В следующих стихотворениях автор говорит не от своего лица, а от лица древних менестрелей, которые знают только то, что мог знать римский гражданин, родившийся за три или четыре сотни лет до христианской эры, и которые ни в коем случае не выше страстей и предрассудков своего века и нации. Этим мнимым поэтам следует приписать некоторые ошибки, которые настолько очевидны, что нет необходимости указывать на них. Настоящей ошибкой было бы представить этих старых поэтов как глубоко сведущих во всеобщей истории и стремящихся к хронологической точности. Им также следует приписать нелиберальные насмешки над греками, яростный партийный дух, презрение к мирным искусствам, любовь к войне ради нее самой, неблагородное ликование по поводу побежденных, которые читатель иногда может наблюдать. Изобразить римлянина эпохи Камилла или Курия, который был бы выше национальных антипатий, скорбел бы о разрушениях и резне, с помощью которых завоевывались империя и триумфы, смотрел бы на человеческие страдания с сочувствием Говарда или относился к побежденным врагам с деликатностью Черного принца, означало бы нарушить все драматические приличия. У древних римлян были великие добродетели: стойкость, воздержание, правдивость, умение противостоять угнетению, уважение к законной власти, верность в соблюдении договоров, бескорыстие, горячий патриотизм; но христианское милосердие и рыцарское великодушие были им неведомы.

Было бы явно неуместно подражать манерам какой-либо определенной эпохи или страны. Однако кое-что было заимствовано из наших собственных старых баллад, а еще больше - у сэра Вальтера Скотта, великого реставратора нашей балладной поэзии. К "Илиаде" мы относимся с еще большими обязательствами; и эти обязательства были приняты с меньшими колебаниями, потому что есть основания полагать, что некоторые из старых латинских менестрелей действительно прибегали к этому неисчерпаемому хранилищу поэтических образов.

Было бы легко раздуть этот небольшой том до весьма значительного объема, приложив к нему примечания, наполненные цитатами; но для ученого читателя такие примечания не нужны; для неученого читателя они не представляют особого интереса; а суждение, вынесенное как ученым, так и неученым о произведении воображения, всегда будет в гораздо большей степени зависеть от общего характера и духа этого произведения, чем от мельчайших деталей.

Гораций

Не приходится сомневаться, что среди тех частей ранней римской истории, которые имели поэтическое происхождение, была и легенда о Горации Коклесе. Мы имеем несколько версий этой истории, и эти версии отличаются друг от друга в немаловажных моментах. Есть основания полагать, что Полибий слышал, как эту историю рассказывали над останками какого-то консула или претора, происходившего из старого рода гораццианских патрициев; он приводит ее в качестве примера рассказов, которыми римляне имели обыкновение украшать свои погребальные оратории. Примечательно, что, по его словам, Гораций защищал мост в одиночку и погиб в воде. Согласно хроникам, которым следовали Ливий и Дионисий, у Горация было два спутника, он благополучно доплыл до берега и был осыпан почестями и наградами.

Эти расхождения легко объяснимы. В нашей литературе можно найти точную параллель тому, что могло происходить в Риме. Вполне вероятно, что память о войне Порсены сохранилась в композициях, очень похожих на две баллады, которые стоят первыми в "Реликвиях древнеанглийской поэзии". В обеих балладах англичане, которыми командует Перси, сражаются с шотландцами, которыми командует Дуглас. В одной из баллад Дугласа убивает безымянный английский лучник, а Перси - шотландский копьеносец; в другой Перси убивает Дугласа в одиночном бою, а сам попадает в плен. В первой балладе сэра Хью Монтомери получает пулю в сердце от нортумбрийского лучника, а во второй его берут в плен и меняют на Перси. Однако обе баллады повествуют об одном и том же событии, которое, вероятно, произошло на памяти тех, кто был жив во время создания обеих баллад. Один из менестрелей говорит:...

"Старики, хорошо знающие эту землю, с давних пор
называют ее битвой при Оттерберне":
В Оттерберне началась эта битва
В один прекрасный день.
Там был дуггит Доглас сан:
Perse never went away".

Другой поэт подводит итог этому событию в следующих строках:

"В Оттерборне твой фрай байган
Между днем и ночью:
Ther the Doglas lost hys lyfe,
И Перси был уведен".

Не исключено, что существовало два старых римских предания об обороне моста; и если история, которую передал нам Ливий, была предпочтительнее для народа, то другая, приписывающая всю славу одному Горацию, могла быть любимой в доме Горациев.

Предполагается, что следующая баллада была создана примерно через сто двадцать лет после войны, которую она празднует, и незадолго до взятия Рима галлами. Автор, по-видимому, был честным гражданином, гордился военной славой своей страны, устал от раздоров фракций и часто тосковал по старым добрым временам, которых на самом деле никогда не было. Однако намек на то, что общественные земли были распределены неравномерно, мог исходить только от плебея; а упоминание о мошеннической продаже трофеев указывает на дату создания поэмы и свидетельствует о том, что поэт разделял общее недовольство, с которым рассматривались действия Камуллы после взятия Вейи.

Предпоследний слог имени Порсены сокращен вопреки авторитету Нибура, который, не приводя никаких оснований для своего мнения, утверждает, что Марциал допустил явную ошибку в строке,

"Hanc spectare manum Porsena non potuit".

Нелегко понять, как любой современный ученый, каковы бы ни были его достижения, - а достижения Нибура, несомненно, были огромны, - может осмелиться утверждать, что Марциал не знал количества слов, которые он, должно быть, произносил и слышал, как их произносят, сотни раз, прежде чем покинуть школу. Нибур, кажется, также забыл, что у Марциала есть товарищи по несчастью, чтобы поддержать его в узде. Гораций совершил ту же самую ошибку; ведь он дает нам чистую ямбическую строку

"Minacis aut Etrusca Porsenæ dextram;".

Силий Италик неоднократно оскорблял таким же образом, как, например, когда он говорит: "Clusinum vulgus, cum, Porsena magne, jubebas." Современный писатель может довольствоваться тем, что ошибается в такой компании.

Предположение Нибура о том, что каждый из трех защитников моста был представителем одного из трех патрицианских племен, является гениальным и вероятным, и было принято в следующей поэме.

Гораций

Сказание о годе города CCCLX

I

Ларс Порсена из Клозиума

Девятью богами он поклялся

Что великий дом Тарквина

Не должен больше страдать от зла.

Девятью богами он поклялся в этом,

И назвал день, в который должно состояться испытание,

И велел своим посланцам отправиться в путь,

На восток и запад, на юг и север,

Чтобы созвать свой отряд.

II

На восток и на запад, на юг и на север
Быстро едут гонцы,
И башни, и города, и дома
Услышали трубный звук.
Позор лживому этруску.
Кто задерживается в своем доме,
когда Порсена из Клузиума
надвигается на Рим.

III

Всадники и пешие
снуют повсюду
Со многих величественных рынков,
Со многих плодородных равнин,
Из многих одиноких деревушек,
Который, скрытый буком и сосной,
Как орлиное гнездо, висит на гребне
пурпурных Апеннин;

IV

Из повелительной Волатерры,
Где хмурится прославленный трюм.
Сложенный руками гигантов
Для божественных королей древности;
Из приморской Популонии,
Чьи дозорные наблюдают
Сардинии снежные вершины гор
окаймляющие южное небо;

V

Из гордой гавани Пизе,
Королева западных волн,
где катаются триремы Массилии.
Нагруженные светловолосыми рабынями;
Оттуда, где милая Кланис бродит
Среди кукурузы, лоз и цветов;
Где Кортон возносит к небесам

Свою диадему из башен.

VI

Высокие дубы, чьи желуди
Падают в темный ручей Аусера;
Жирны олени, что бодаются с ветвями
Киминийского холма;
За всеми ручьями Клитумн
Пастуху дорог Клитумн;
Из всех водоемов лучше всех любит птицелов
Великое вольсинийское болото.

VII

Но теперь не слышен удар дровосека
Не слышно у ручья Аусера;
Ни один охотник не прослеживает зеленый путь оленя
на холме Кимины;
Без присмотра вдоль Клитумна
Пасется молочно-белый бычок;
Невредима водоплавающая птица
В вольсминском болоте.

VIII

Урожай Арретия,
В этом году пожинают старики;
В этом году юноши в Умбро
Запрягают овец;
И в чанах Луны,
В этом году сусло будет пениться
Вокруг белых ног смеющихся девушек.
Чьи отцы ушли в Рим.

IX

Тридцать избранных пророков,
Мудрейших в стране,
Которые всегда у Ларса Порсены
И утром, и вечером стоят:
Вечер и утро тридцать
Перелистывают стихи,

Начертанные справа на льне белом
Могучими провидцами былых времен.

X

И в один голос тридцать
Дали радостный ответ:
"Ступай, ступай, Ларс Порсена;
Ступай, возлюбленный Небес;
Иди и вернись во славе
В королевский купол Клузиума;
И повесь вокруг алтарей Нурсии
Золотые щиты Рима".

XI

И теперь каждый город
Послал свой рассказ о людях;
Пеших - четыреста тысяч,
Конных - тысяч десять.
Перед воротами Сутриума
Встречает великий строй.
Горд был Ларс Порсена
В день дегустации.

XII

Ибо все этрусские войска
Были под его взором,
И многие изгнанные римляне,
И много крепких союзников;
И с могучей дружиной
На сбор пришел
Тускуланский Мамилий,
князь латинян.

XIII

Но у желтого Тибра
Был шум и страх:
Со всех просторных шампаний
В Рим бежали люди.
На милю вокруг города,

Толпа остановилась на пути;
Страшное зрелище было
В течение двух долгих ночей и дней.

XIV

Для стариков на костылях,
И женщин, рожаящих детей,
И матерей, рыдающих над младенцами.
Которые прижимались к ним и улыбались,
И больные, которых несут в повозках.
на шеях рабов,
И отряды обожженных солнцем мужей
С жатвенными крючьями и шестами,

XV

И толпы мулов и ослов.
груженных шкурами для вина,
И бесконечные стада коз и овец,
И бесконечные стада коней,
И бесконечные повозки.
Которые скрипят под тяжестью
мешков с кукурузой и домашней утварью,
Загромождали все гулкие ворота.

XVI

Теперь, со скалы Тарпейской
Могли ли странные мещане разглядеть
Линию пылающих деревень
Красных в полуночном небе.
Отцы города,
Они сидели всю ночь и день,
И каждый час приезжали всадники
С вестями тревожными.

XVII

На восток и на запад
Разошлись тосканцы;
Ни дом, ни ограда, ни голубятня
В Крустумерии не стоит.

Вербенна до Остии
Разорил всю равнину;
Астур штурмом взял Яникул,
И крепкие стражи убиты.

XVIII

Я хочу сказать, что во всем сенате
Не было сердца столь смелого,
Но болело оно и билось быстро,
Когда сообщили эту дурную весть.
Вскоре поднялся консул,
Поднялись все отцы;
В спешке они накинули халаты,
И приперли их к стене.

XIX

Они держали совет стоя,
Перед речными воротами;
Недолгим был совет, как вы догадываетесь,
Для размышлений и споров.
Выступил консул с крутой речью:
"Мост должен быть разрушен;
Ибо, раз Яникул потерян,
Ничто другое не спасет город".

XX

В этот момент прилетел разведчик,
Дикий от спешки и страха:
"К оружию! К оружию! Сэр консул:
Ларс Порсена здесь".
На низких холмах к западу
Консол устремил свой взор,
И увидел, как смуглая буря пыли
поднимается по небу.

XXI

И все ближе и ближе
Красный вихрь приближается;
И все громче и громче,

Из-под туч, что катятся,
Слышен гордый военный голос трубы,
топот и гул.
И все яснее и яснее
Теперь сквозь мрак видны,
Далеко слева и далеко справа,
В прерывистых отблесках темно-синего света,
Длинный ряд шлемов ярких,
Длинный ряд копий.

XXII

И все яснее и яснее,
Над этой мерцающей линией,
Теперь вы можете увидеть знамена
Двенадцати прекрасных городов;
Но знамя гордого Клузиума
Было выше всех,
Ужас умбрийцев,
Ужас галлов.

XXIII

И все яснее и яснее
Теперь мещане могли знать,
По порту и жилету, по коню и гребню,
Каждый воинственный Лукумо.
Вот Цильний из Арретия
На конях своего флота;
И Астур с четырехпалым щитом,
Опоясанный клеймом, которое не может носить никто другой,
Толумний с поясом золотым,
И темный Вербенна из трюма
У камышовой Фрасимены.

XXIV

Быстро у королевского штандарта,
С видом на всю войну,
Ларс Порсена из Клузиума
Сидел в своей машине из слоновой кости.
За правым колесом ехал Мамилий,
принц из Лация;

А за левым - лже-Секст,
Который совершил позорный поступок.

XXV

Но когда лицо Секста
Увидели враги,
Крик, разорвавший небосвод
Со всего города поднялся.
На вершинах домов не было ни одной женщины.
но плевала в его сторону и шипела,
Ни один ребенок не выкрикивал проклятий,
и тряс своим маленьким кулачком.

XXVI

Но чело консула было печально,
И речь консула была негромкой,
И мрачно смотрел он на стену,
И мрачно смотрел на врага.
"Их фургон настигнет нас
Прежде чем мост опустится;
И если им удастся захватить мост,
Что за надежда спасти город?"

XXVII

Вышел храбрый Гораций,
Капитан ворот:
"К каждому человеку на этой земле
Смерть приходит рано или поздно.
И как умереть лучше.
Чем столкнуться со страшными трудностями,
за прах своих отцов,
И храмы своих богов,

XXVIII

"И для нежной матери.
Которая укачивает его,
И для жены, что кормит
Его младенца у груди своей,
И для святых дев.

Которые питают вечный огонь,
Чтобы спасти их от лже-Секста.
Который совершил позорное деяние?

XXIX

"Спускайте мост, господин консул,
Со всей возможной скоростью;
Я, с двумя помощниками,
Задержать врага в игре.
На этой прямой дороге тысячу
Могут остановить трое.
Кто встанет по обе стороны,
И удержит мост вместе со мной?"

XXX

Выступил Спурий Лартий;
Рамниец гордый был он:
"Вот, я встану по правую руку от тебя,
И мост с тобою держать".
И вышел сильный Герминий;
Тицианской крови он был:
"Я останусь по левую сторону от тебя,
И вместе с тобою держать мост".

XXXI

"Гораций, - сказал консул,
"Как ты скажешь, так и будет".
И прямо против великого войска
Вперед пошли отважные трое.
Ибо римляне в ссоре с Римом
Не жалели ни земли, ни золота,
Ни сына, ни жену, ни конечности, ни жизнь,
В былые храбрые дни.

XXXII

Тогда никто не был за партию;
Тогда все были за государство;
Тогда великий человек помогал бедному,
А бедняк любил великого:

Тогда земли были справедливо разделены;
Тогда справедливо продавались трофеи:
Римляне были как братья
В храбрые дни былых времен.

XXXIII

Теперь римлянин для римлянина
Ненавистней, чем враг,
И трибуны бородаты,
А отцы - низких.
Как мы горячи в раздорах,
В битве мы остываем:
Поэтому люди сражаются не так, как сражались
В былые храбрые дни.

XXXIV

Пока трое затягивали
Упряжь на спинах,
Консул первым
Взял в руки топор:
И отцы вперемешку с общинниками
Взяли топор, прут и ворон,
И били по доскам наверху,
И расшатывали подпорки внизу.

XXXV

Тем временем тосканская армия,
Славное зрелище,
Идет, сверкая полуденным светом,
Ряд за рядом, как волны яркие
В широком золотом море.
Четыреста труб зазвучали
В воинственном ликование,
Как то великое воинство, с мерным шагом,
С копьями наперевес, со знаменами наперевес,
Медленно катился к голове моста,
Где стояла отважная тройка.

XXXVI

Трое стояли спокойно и молчаливо,
И смотрели на врагов,
И раздался хохот.
От всего авангарда поднялся:
И три вождя вышли вперед
Перед тем глубоким строем;
На землю они спрыгнули, мечи достали,
И подняли щиты, и полетели
Чтоб выиграть нарровый путь;

XXXVII

Аунус из зеленого Тифернума,
Владыка виноградных холмов;
И Сейус, чьи восемьсот рабов
Умирают в рудниках Ильвы;
И Пикус, долгое время бывший в Клузиуме
Вассал в мире и войне,
Который вел в бой свои умбрийские войска
С того седого утеса, где, опоясанная башнями,
Крепость Некинум опускается
Над бледными волнами Нара.

XXXVIII

Крепкий Лартий свалил Аунуса
В поток под ним;
Герминий набросился на Сея,
и зарубил его зубами;
На Пикуса храбрый Гораций
Нанёс один огненный удар;
И позолоченные руки гордых умбрийцев
Сразились в кровавой пыли.

XXXIX

Тогда Окнус из Фалерии
Бросился на римскую тройку;
И Лаузул из Урго,
Морской скиталец;
И Арунс из Вольсиниума,
Который убил великого вепря,
Великого кабана, который устроил свое логово

Среди тростников болота Коса,
И опустошал поля, и убивал людей,
Вдоль берега Альбинии.

XL

Герминий сразил Арунса:
Лартий низложил Окнуса:
Прямо в сердце Лаусула
Гораций послал удар.
"Лежи, - крикнул он, - пал пират!
Нет больше, ага и бледен",
От стен Остии толпа проследит
След твоего гибнущего корабля.
Не будут больше олени Кампании бежать
В леса и пещеры, когда увидят
Твой трижды проклятый парус".

XLI

Но теперь ни звука смеха
Не было слышно среди врагов.
Дикий и гневный крик
Поднялся от всего авангарда.
В шести копьях от входа
Остановили этот строй,
И на некоторое время ни один человек не вышел вперед
Чтоб отвоевать узкий путь.

XLII

Но вот раздается крик Астура:
И вот! ряды расступаются;
И великий владыка Луны
Идет величественной поступью.
На его широких плечах
громко лязгает четырехпалый щит,
И в руке он трясёт клеймо.
Которым никто, кроме него, не может владеть.

XLIII

Он улыбнулся тем смелым римлянам

Улыбкой безмятежной и высокой;
Он смотрел на дрожащих тосканцев,
И презрение было в его глазах.
Он сказал: "Волчий приплод
Стоят на расстоянии:
Но осмелитесь ли вы следовать за ними,
если Астур расчистит путь?"

XLIV

Тогда, взмахнув мечом
обеими руками на высоту,
Он бросился на Горацев,
И ударил со всей силы.
Щитом и клинком Гораций
ловко отклонил удар.
Удар, хоть и отклонился, но был слишком близок;
Он не попал в шлем, но пронзил бедро:
Тосканцы подняли радостный крик.
Увидев красную кровь.

XLV

Он покачнулся, и на Герминия
Он опирался на Герминия;
Потом, как дикая кошка, обезумевшая от ран,
Бросился прямо в лицо Астуру.
Сквозь зубы, и череп, и шлем
Так яростно он бил,
И добрый меч на расстоянии вытянутой руки
За головой тосканца.

XLVI

И великий владыка Луны
Пал от этого смертельного удара,
Как падает на горе Альвернус
Дуб, пораженный громом:
Над лесом грохочущим
Гигантские руки распростерты;
И бледные авгуры, бормоча,
Взирают на разрушенную голову.

XLVII

На горло Астура Гораций
Крепко надавил каблуком,
И трижды, и четырежды дергал,
Пока он не вырвал сталь.
"Посмотрите, - вскричал он, - какой прием,
Прекрасные гости, что ждут вас здесь!
Какой благородный Лукомо придет
Чтоб отведать нашей римской радости?"

XLVIII

Но на его надменный вызов
Пронесся угрюмый ропот,
Смешались гнев, и стыд, и ужас,
Вдоль сверкающего строя.
Там не было ни доблестных мужчин,
И не было людей славного рода;
Ибо все благороднейшие Этрурии
Были вокруг рокового места.

XLIX

Но все благороднейшие Этрурии
Сердца их замирали, видя
На земле окровавленные трупы,
И на пути - отважных троих:
И, от ужасного входа
Где стояли те смелые римляне,
Все сжались, как мальчишки не знающие,
Бегают по лесу, чтоб зайца завести,
Пришли к устью темного логова.
Где, низко рыча, свирепый старый медведь
Лежит среди костей и крови.

L

Не было никого, кто бы первым
Чтобы возглавить такую страшную атаку;
Но те, кто был позади, кричали: "Вперед!"
А те, кто впереди, кричали: "Назад!"
И назад, и вперед

Колеблется глубокий строй;
И на колышущемся стальном море
То в сторону, то влево штандарты катятся;
И победный трубный глас
Затихает вдали.

LI

И все же один человек на одно мгновение
Вышел перед толпой;
Он был хорошо известен всем троим,
И они громко приветствовали его.
"Добро пожаловать, добро пожаловать, Секст!
Добро пожаловать в свой дом!
Что ж ты задерживаешься и отворачиваешься?
Здесь лежит дорога в Рим".

LII

Трижды смотрел он на город;
Трижды смотрел он на мертвых;
И трижды в ярости наступал,
И трижды в ужасе поворачивал назад:
И, белый от страха и ненависти,
С ужасом смотрел на узкий путь.
Где, в луже крови утопая,
лежали храбрейшие тосканцы.

LIII

Но тем временем топор и рычаг
Были вкалывать не покладая рук;
И вот уже мост висит
Над кипящим приливом.
"Вернись, вернись, Гораций!"
громко кричали все отцы.
"Назад, Лартий! Назад, Герминий!
Назад, пока не рухнули руины!"

LIV

Назад бросился Спурий Лартий;
Герминий бросился назад:
И, когда они проходили мимо, под их ногами
Они чувствовали, как трещат бревна.

Но когда они повернулись лицом,
и на дальнем берегу
увидели, что храбрый Гораций стоит один,
Они бы переправились еще раз.

LV

Но с треском, подобным грому.
Упала каждая ослабленная балка,
И, как плотина, могучий обломок
легла прямо на берег:
И долгий крик триумфа
Раздался со стен Рима,
И до самых высоких башен
Желтая пена брызнула.

LVI

И, как конь необъезженный
Когда он впервые чувствует поводья,
Яростная река упорно сопротивлялась,
И вскинула свою рыжую гриву,
И, прорвав узду, понеслась,
Радуюсь свободе,
И мчится вниз, в яростном порыве,
Батарею, и доски, и пристань,
И бросился в море головой вперед.

LVII

Один стоял храбрый Гораций,
Но в мыслях был неизменен;
Трижды тридцать тысяч врагов впереди,
И широкий поток позади.
"Долой его!" - вскричал лже-Секст,
С улыбкой на бледном лице.
"Теперь сдавайся, - вскричал Ларс Порсена,
"Сдайся на нашу милость".

LVIII

Повернулся он, не желая
На эти трусливые ряды смотреть;
Ничего не сказал он Ларсу Порсене,
И с Секстом не говорил;
Но увидел он на Палатине
Белое крыльцо своего дома;
И говорил он с благородной рекой.
Что течет у башен Рима.

LVIX

"О, Тибр! Отец Тибр!
Кому молятся римляне,
Жизнь римлянина, оружие римлянина,
Возьми ты в руки сегодня!"
Так говорил он, и, убрав в ножны
Меч, что был у него под рукой,
И, накинув на спину упряжь,
Погрузился с головой в прилив.

LX

Ни радости, ни печали
Не было слышно ни с одного берега;
Но друзья и враги в немом удивлении,
с оттопыренными губами и напряженными глазами,
Стояли, глядя туда, где он утонул;
И когда над волнами
Они увидели его гребень,
Весь Рим издал восторженный крик,
И даже ряды тосканцев
Не могли удержаться от ликования.

LXI

Но яростно текла река,
Разбухший от многомесячных дождей:
И быстро кровь его текла;
И он мучился от боли,
И тяжелы были его доспехи,
И измучен сменой ударов:
И часто думали, что он тонет,
Но все равно он снова поднимался.

LXII

Никогда, я думаю, пловец
В таком злом деле,
Пробивался сквозь бушующий поток
И благополучно добрался до места высадки:
Но его конечности мужественно держались.
Отважное сердце внутри,
А наш добрый отец Тибр
Отважно поднял свой подбородок.

LXIII

"Будь он проклят!" - воскликнул лже-Секст;
"Не утонет ли злодей?
Если бы он не задержался, до конца дня
Мы бы разграбили город!"
"Небо помоги ему!" - воскликнул Ларс Порсена.
"И доставить его на берег в целости и сохранности;
Ибо такого галантного подвига
никогда не было в истории".

LXIV

И вот он уже чувствует дно;
Теперь он стоит на сухой земле;
Вокруг него толпятся отцы;
Чтобы сжать его руки, покрытые кровью;
И вот, с криками и хлопанием,
И шум рыданий громких,
Он входит через речные ворота
Влекомый радостной толпой.

LXV

Они отдали ему кукурузные земли,
что было общественным правом,
Столько, сколько два сильных вола
Могли пахать с утра до ночи;
И сделали они расплавленное изображение,
И поставили его на высоте,
И стоит оно там по сей день.
Чтобы свидетельствовать, если я лгу.

LXVI

Он стоит в Комитиуме
На виду у всех;
Гораций в своей сбруе,
стоящий на одном колене:
А под ним надпись,
Золотыми буквами,
Как доблестно он держал мост
В отважные дни былые.

LXVII

И до сих пор его имя звучит волнующе
Для людей Рима,
Как труба, что зовет их
Взять в плен вольскианский дом;
И жены все еще молят Юнону

За мальчиков с сердцами смелыми.
Как у тех, кто так хорошо держал мост
В былые храбрые дни.

LXVIII

И в зимние ночи,
когда дуют холодные северные ветры,
И долгий вой волков
слышен среди снегов;
Когда вокруг одинокого домика
громко ревет буря,
И добрые бревна Альгидуса
Еще громче режут внутри;

LXIX

Когда откроется самый старый бочонок,
И горит самая большая лампа;
Когда каштаны пылают в углях,
И ребенок вертится на вертеле;
Когда молодые и старые в кругу
Вокруг огненного костра;
Когда девушки плетут корзины,
А парни делают луки;

LXX

Когда добрый молодец чинит свои доспехи,
И подравнивает плюмаж своего шлема;
Когда челнок доброй жены весело
По ткацкому станку проносится;
С плачем и со смехом
По-прежнему рассказывают историю,
Как хорошо Гораций держал мост
В былые храбрые дни.

Битва у озера Региллус

Предполагается, что следующая поэма была написана примерно через девяносто лет после Горациева мира. Некоторые лица, упомянутые в поэме Горациев, появляются вновь, а некоторые названия и эпитеты, использованные в поэме Горациев, были намеренно повторены: ведь в эпоху балладной поэзии едва ли когда-нибудь не случается так, что определенные фразы присваиваются определенным людям и вещам и регулярно применяются к этим людям и вещам каждым менестрелем. Так мы находим и в гомеровских поэмах, и у Гесиода [несколько примеров общих фраз на греческом]. Так и в наших национальных песнях: Дуглас - это почти всегда смелый Дуглас; Англия - это веселая Англия; все золото - красное; все дамы - веселые.

Основное различие между миром Горациев и миром озера Регилл состоит в том, что первый задуман как чисто римский, в то время как второй, хотя и национальный по своему общему духу, имеет легкий оттенок греческой образованности и греческого суеверия. История Тарквинов, как она дошла до нас, по-видимому, была составлена из произведений нескольких популярных поэтов, и один из них, по крайней мере, посетил греческие колонии в Италии, если не саму Грецию, и был знаком с произведениями Гомера и Геродота. Многие из самых ярких приключений дома Тарквинов, до появления Лукреции, имеют греческий характер. Сами Тарквины представлены как коринфские вельможи из великого дома Вакхидов, изгнанные из своей страны тиранией того самого Кипсела, историю о странном побеге которого Геродот поведал с несравненной простотой и живостью. Ливий и Дионисий рассказывают, что когда Тарквина Гордого спросили, как лучше всего управлять завоеванным городом, он ответил, что только сбив своим посохом все самые высокие маки в своем саду. Именно так Геродот, в отрывке, на который уже была сделана ссылка, рассказывает о совете, данном Периандру, сыну Кипсела. Уловка, с помощью которой город Габии попадает под власть Тарквинов, опять же явно скопирована у Геродота. Посольство молодых Тарквиниев к оракулу в Дельфах - это как раз та история, которую мог бы рассказать поэт, чья голова была забита греческой мифологией; а двусмысленный ответ Аполлона выполнен в точном стиле пророчеств, которые, по словам Геродота, заманили Креза на гибель. Затем характер повествования меняется. От первого упоминания о Лукреции до отступления Порсены ничто не кажется заимствованным из иностранных источников. Злодейство Секста, самоубийство его жертвы, революция, смерть сыновей Брута, защита моста, Мусий, обжигающий руку, Клолия, плывущая по Тибру, - все это кажется сугубо римским. Но когда мы покончили с тосканскими войнами и перешли к войне с латинянами, нас снова поразила греческий колорит повествования. Битва на озере Регилл во всех отношениях напоминает гомеровское сражение, за исключением того, что сражающиеся едут верхом на лошадях, а не на колесницах. О массе сражающихся почти не упоминается. Вожди выделяют друг друга и вступают в бой рука об руку. Главная цель воинов с обеих сторон, как и в "Илиаде", - завладеть добычей и телами убитых; рассказывается о нескольких обстоятельствах, которые убедительно напоминают нам о великой резне вокруг трупов Сарпедона и Патрокла.

Но есть одно обстоятельство, которое заслуживает особого внимания. И война под Троей, и война с Региллом были вызваны развратными страстями молодых принцев, которые поэтому были обязаны не щадить свои персоны в день битвы. Поведение Секста при Регилле, описанное Ливием, так точно напоминает поведение Париса, описанное в начале третьей книги "Илиады", что трудно считать это сходство случайным. Парис появляется перед рядами троянцев, бросая вызов самому храброму греку, который должен встретиться с ним.

3 строки из "Илиады" на греческом языке, вероятно, те, которые переведенные Поупом как:

...к фургону, перед сынами славы
Которых послала Троя, пришел красавец Парис:

Ливий представляет Секста аналогичным образом: "Feroscem juvenem Tarquinium, ostentantem se in prima exsulum acie". Менелай спешит на встречу с Парисом. Римский аристократ, жаждущий мести, пришпоривает коня и устремляется к Сексту. Оба виновных принца мгновенно приходят в ужас.

Еще 3 строки на греческом языке, перевод Поупа:

...[Менелай] приближается,
И на красавца-чемпиона смотрит со страхом,
Смирившись с осознанием, отступает назад,
И избегает участи, которую он вполне заслужил.

"Тарквиний", - говорит Ливий, - "retro in agmen suorum infenso cessit hosti". Если это и случайное совпадение, то одно из самых необычных в литературе.

Поэтому в следующей поэме образы и эпизоды заимствованы не просто без угрызений совести, а принципиально из несравненных батальных произведений Гомера.

В Риме с ранних времен бытовало мнение, что события великого дня Регилла были предreshены сверхъестественными силами. Кастор и Поллукс, как утверждалось, сражались вооруженными и конными во главе легионов содружества, а затем с невероятной скоростью разнесли по городу весть о победе. На Форуме был указан колодец, у которого они приземлились. Рядом с колодцем возвышался их древний храм. В иды Квинтилиса, считавшиеся годовщиной битвы, в их честь устраивался большой праздник, и в этот день им приносились роскошные жертвы за государственный счет. Одно место на берегу озера Региллус на протяжении многих веков вызывало суеверный трепет. В вулканической породе была видна отметина, напоминающая по форме лошадиное копыто; считалось, что ее сделал один из небесных заряжающих.

Как возникла эта легенда, сейчас выяснить невозможно, но мы легко можем представить себе несколько вариантов ее происхождения; и совсем не обязательно полагать, как Юлий Фронтин, что Диктатор нарядил двух молодых людей в костюмы сыновей Леды. Вполне вероятно, что Ливий прав, когда говорит, что римский полководец в час опасности поклялся построить храм Кастору. Если это так, то ничто не могло быть более естественным, чем то, что народ приписывал победу благосклонности богов-близнецов. Когда такие настроения преобладали, любой человек, решивший заявить, что посреди смятения и резни он видел двух богов на белых конях, рассеивающих латинян, нашел бы готовое доверие. Мы знаем, что в наше время очень похожая история действительно нашла доверие среди людей, гораздо более цивилизованных, чем римляне пятого века до нашей эры. Капеллан Кортеса, писавший примерно через тридцать лет после завоевания Мексики, в эпоху печатных станков, библиотек, университетов, ученых, логиков, юристов и государственных деятелей, имел право утверждать, что во время одной схватки с индейцами святой Иаков появился на сером коне во главе кастильских авантюристов. Многие из этих авантюристов были живы, когда эта ложь была напечатана. Один из них, честный Берналь Диас, написал рассказ об

этой экспедиции. У него были свидетельства его собственных чувств против легенды; но, похоже, он не доверял даже свидетельствам своих собственных чувств. Он говорит, что был в битве и что видел серого коня с человеком на спине, но этот человек, по его мнению, был Франческо де Морла, а не благословенный апостол святой Иаков. "Тем не менее, - добавляет Бернал, - возможно, человек на серой лошади был славным апостолом святым Иаковом, а я, грешный, был недостоин его видеть". Римляне эпохи Цинцината, вероятно, были столь же доверчивы, как и испанские подданные Карла Пятого. Поэтому можно предположить, что появление Кастора и Поллукса могло стать предметом веры еще до того, как ушло из жизни поколение, сражавшееся при Регилле. Не может быть ничего более естественного, чем то, что поэты следующей эпохи приукрасят эту историю и заставят небесных всадников нести в Рим весть о победе.

Спустя много лет после того, как на Форуме был построен храм богов-близнецов, в церемонию, которой государство ежегодно выражало свою благодарность за их защиту, было внесено важное дополнение. Квинт Фабий и Публий Деций были избраны цензорами в момент серьезного кризиса. Стало совершенно необходимо пересмотреть классификацию граждан. От этой классификации зависело распределение политической власти. Партийный дух был высок, и республике грозила опасность оказаться под властью либо узкой олигархии, либо невежественного и упрямого сброда. В таких обстоятельствах самому знаменитому патрицию и самому знаменитому плебею эпохи было поручено выступить арбитрами между враждующими фракциями; и они выполнили свою трудную задачу к удовлетворению всех честных и разумных людей.

Одной из их реформ была перестройка конного ордена, и, осуществив ее, они решили придать своему делу санкцию, вытекающую из религии. В современных рыцарских обществах, которые имеют гораздо больше общего с конным орденом Рима, чем может показаться на первый взгляд, было принято обращаться к особому покровительству какого-либо святого и отмечать его день с особой торжественностью. Так, компаньоны Подвязки носят изображение святого Георгия на воротнике и собираются по большим поводам в часовне святого Георгия. Так, когда Людовик Четырнадцатый учредил новый рыцарский орден для поощрения военных заслуг, он воздал должное его прославленному предку и покровителю и постановил, что все члены братства должны собираться в королевском дворце на праздник Святого Людовика, сопровождать короля в часовню, слушать мессу и впоследствии проводить свои большие ежегодные собрания. Существует значительное сходство между этим правилом ордена Святого Людовика и правилом, которое Фабий и Деций установили в отношении римских рыцарей. В годовщину битвы при Регилле в честь Кастора и Поллукса, двух конных богов, было предписано проводить торжественный сбор и осмотр конного корпуса. Все рыцари, облаченные в пурпур и увенчанные оливковыми венцами, должны были собраться у храма Марса в пригороде. Затем они должны были проехать в торжественной обстановке до Форума, где стоял храм Близнецов. Это зрелище на протяжении нескольких веков считалось одной из самых великолепных достопримечательностей Рима. Во времена Дионисия кавалькада иногда состояла из пяти тысяч всадников, все они были людьми с хорошей репутацией и легкой судьбой.

Нет сомнений, что цензоры, учредившие эту величественную церемонию, действовали в согласии с понтификами, которым, согласно конституции Рима, принадлежал надзор за общественным богослужением; вполне вероятно, что этим высоким религиозным функционерам, как обычно, посчастливилось найти в своих книгах или традициях какое-то обоснование для нововведения.

Предполагается, что следующая поэма была написана по этому случаю. Песни, как мы знаем, распевались на религиозных праздниках Рима с раннего периода, причем с такого раннего, что некоторые из священных стихов были популярно приписаны Нуме и были совершенно непонятны в эпоху Августа. Во время Второй Пунической войны в честь Юноны был устроен большой праздник, и в ее честь была спета песня. Эта песня существовала во времена Ливия, и, хотя она была очень грубой и безвкусной, показалась ему не лишенной достоинств. Песня, как мы узнаем от Горация, была частью установленного ритуала во время великого светского юбилея. Поэтому вполне вероятно, что цензоры и понтифики, решив добавить грандиозное рыцарское шествие к другим торжественным мероприятиям, ежегодно проводимым в Иды Квинтилиса, обратились бы за помощью к поэту. Такой поэт, естественно, взял бы в качестве темы битву при Регилле, появление богов-близнецов и учреждение их праздника. Он нашел бы богатый материал в балладах своих предшественников, а также свободно использовал бы скудный запас греческой образованности, который приобрел сам. Вероятно, он введет какого-нибудь мудрого и святого понтифика, предписывающего великолепную церемонию, которая после долгого перерыва была наконец принята. Если поэма удастся, многие запомнят ее наизусть. Ее части будут петь под трубы на банкетах. Особенно интересна она была бы для великого дома Постумиев, где среди множества образов был изображен диктатор Аулус, герой Регилла. Оратор, который в следующем поколении произносил погребальный панегирик над останками Луция Постумия Мегелла, трижды консула, в значительной степени позаимствовал бы из этого текста; таким образом, некоторые отрывки, сильно изуродованные, вероятно, попали бы в хроники, которые впоследствии были в руках Дионисия и Ливия.

Антиквары сильно расходятся во мнениях относительно расположения поля битвы. Мнение тех, кто считает, что армии встретились у Корнуфелла, между Фраскати и Монте-Порцио, по крайней мере, правдоподобно, и его придерживаются в поэме.

Что касается подробностей битвы, то мы не сочли нужным тщательно придерживаться тех рассказов, которые дошли до нас. Эти рассказы, действительно, сильно отличаются друг от друга и, по всей вероятности, так же сильно отличаются от древней поэмы, из которой они были взяты.

Нет необходимости указывать на очевидные подражания "Илиаде", которые были намеренно введены.

Битва у озера Региллус

Песнопение, исполненное на празднике Кастора и Поллукса в иды Квинтилис в год Города CCCCLI.

I

Трубы, трубачи, подайте боевой клич!
Ликторы, расчистите дорогу!
Рыцари скачут, во всей своей гордости,
По улицам города сегодня.
Сегодня двери и окна
Гирляндами увешаны все,

От Кастора на Форуме,
До Марса за стеной.
Каждый рыцарь облачен в пурпур,
Каждый увенчан оливой;
Галантный боевой конь под каждым
Лапами надменно бьет по земле.
Пока течет Желтая река,
Пока стоит Священный холм,
Гордые иды Квинтилиса
Должны иметь такой почет и впредь.
Прекрасны марсианские Календы,
И декабрьские ноны,
Но гордые иды, когда скачет эскадра,
Будут самым белым днем Рима.

II

Великим братьям-близнецам
Мы отмечаем этот торжественный праздник.
Быстро, быстро, великие братья-близнецы
Пришли с востока.
Они пронеслись над диким Парфением
В волнах сосновых,
Над куполом Цирры, над пеной Адрии,
Над пурпурными Апенниннами,
Оттуда, где флейты и танцы
Их древняя усадьба звенит,
В повелительном Лакедемоне,
Город двух царей,
Туда, где у озера Регилл,
Под Порциевой высотой,
Все в землях Тускулума,
Была славная битва.

III

Теперь на месте бойни
видны кровати и овчарни,
И ряды виноградников, и поля пшеницы,
И яблоневые сады;
Свиньи давят большие желуди.
Что падают с дубов Корна.
На дерне у прекрасного фонтана

дымится похлебка жнеца.
Рыбак ловит рыбу на удочку;
Охотник натягивает лук;
Мало думают они о тех крепких сучьях.
Которые плесневеют глубоко внизу.
Мало думают они о том, как сурово
В тот день прозвучали трубы;
Как в скользком болоте крови
Воин и боевой конь покатались;
Как волки неслись свирепым галопом,
И вороны на нетерпеливых крыльях,
Чтобы рвать плоть капитанов,
И клевать глаза королям;
Как мертвые лежали, разбросанные
Под Порциевой высотой;
Как через ворота Тускулума
Пронесся дикий поток бегства;
И как озеро Регилл
Пузырилось багровой пеной,
В какое время тридцать городов
Вышли на войну с Римом.

IV

Но, римлянин, когда ты стоишь
На этой священной земле,
Внимательно посмотри на темную скалу.
Что опоясывает темное озеро.
Там ты увидишь след копыта.
Впечатанный в кремень:
Не копыто смертного коня
Что сделал столь странный шаг:
Там Великим братьям-близнецам
Дай обет свой и молись.
Чтоб они, в бурю и в бегство,
Сохранят голову твою всегда.

V

С тех пор как в последний раз Великие братья-близнецы
Видели смертные глаза,
Прошло сто лет
И четыреста тринадцать.

В то лето Виргиний
 Был консулом первым;
Вторым был крепкий Аулус,
 из рода Постумиев.
Вестник латинян
 Из Габиев прибыл в государстве:
Вестник латинян
 Прошел через восточные ворота Рима:
Вестник латинян
 В нашем Форуме стоял;
И там он исполнял свой долг,
 Со скипетром в руке.

VI

"Слушайте, сенаторы и народ
 Славного города Рима,
Тридцать городов поручают вам
 Вернуть Тарквинов домой:
А если вы все еще будете упрячиться
 Чтобы таркины работали не так,
Тридцать городов предупреждают вас,
 Пусть будут крепкими ваши стены".

VII

Тогда заговорил консул Аулус,
 Он рассказал горькую шутку:
"Однажды сойки послали весть
 В орлиное гнездо: "Теперь уступи свое гнездо.
Теперь уступи свое гнездо
 И не отдай коршуну,
Или выходи смело и встречай
 с сойками в смертельной схватке.
В гневе орел поднялся;
 И коршун, и сойка,
как только увидели его клюв и когти,
 С криком улетели прочь".

VIII

Вестник латинян
 Вернул его в государство:

Отцы города
Собрались в высоком споре.
Тогда заговорил старший консул,
древний и мудрый:
"Слушайте, отцы-призывники,
К тому, что я вам советую.
Во времена великой опасности
Хорошо, если один будет править;
Тогда выберем мы Диктатора,
Которому все люди будут повиноваться".
Камерий знает, как глубоко
Меч Аулуса кусает,
И весь наш город называет его
Человек семидесяти боев.
Так пусть он будет диктатором
На шесть месяцев и не более,
И пусть будет магистром рыцарей,
И топоров двадцать четыре".

IX

Так Аулус стал диктатором,
Человек семидесяти боев;
Он назначил Эбутия Эльва
Магистром рыцарей.
На третье утро после этого,
На закате дня,
Аулус и Эбутий
Отправились в путь со своим войском.
Семпроний Атратин
Был оставлен дома за старшего.
С мальчиками и седобородами мужчинами,
Для охраны стен Рима.
У озера Регилл
Ночью разбили мы лагерь:
В миле к востоку лежали латины,
Под Порциевой высотой.
Далеко по холмам и долинам
Раскинулось их могучее войско;
И тысяча сторожевых костров
Полночный небосвод был красен.

X

Взошло золотое утро
Над Порцианской высотой,
Гордые иды Квинтилиса
Отмечены белым цветом.
Не без тайной беды
Наши храбрейшие увидели врага;
Ибо подпоясанные тремя десятками тысяч копий,
Тридцать штандартов поднялись.
Из каждого воинственного города
Который именем латинян хвалится,
Обреченные на гибель псам и стервятникам,
Пришло это доблестное войско;
Из пурпурных виноградников Сетии,
От древней стены Норбы,
С белых улиц Тускулума,
Гордого города всех;
От крепости ведьм
Над темно-синими морями;
От тихого озера, что спит
Под деревьями Ариции...
Те деревья, в чьей тусклой тени
Царит жуткий священник,
Жрец, убивший убийцу,
И сам будет убит;
С мрачных берегов Уфенса,
Где играют болотные птицы,
И буйволы валяются
В жаркий летний день;
С гигантских сторожевых башен,
Не дело рук земных людей,
с которых часовые Кору взирают на
На бесконечные болота;
Из Лаврентийских джунглей,
Из тростникового дома дикого борова;
Из зеленых круч, где Анио прыгает
В потоках белоснежной пены.

XI

Ариция, Кора, Норба,
Велитраэ, с мощью
Сетии и Тускулума,

были сосредоточены справа:
Предводителем был Мамилий,
князь из рода латинян;
На голове его шлем
Из красного золота сиял, как пламя:
Высоко на галантном коне
Темно-серого оттенка он скакал;
Поверх позолоченных доспехов
Жилет пурпурный струился,
Сотканный в стране рассвета
Темнобровыми дочерьми Сирии,
И на парусах Карфагена, принесенных
Далеко за южные воды.

XII

Лавиниум и Лаврентий
Слева стояли на своем посту,
Со всеми знаменами болота,
И знаменами побережья.
Их предводителем был лже-Секст,
совершивший позорный поступок:
С беспокойным шагом и изможденным лицом
К своему последнему полю он пришел.
Люди говорили, что он видел странные видения.
Которые никто не мог видеть;
И что странные звуки были в его ушах.
Которые никто, кроме него, не слышал.
Женщина прекрасная и статная,
Но бледная, как мертвец,
Часто в ночные часы
пряла у его постели.
И когда она пряла,
сладостным и низким голосом,
Она пела о великих старых домах,
И о давних битвах.
Так пряла она и так пела,
Пока восток не стал серым.
Затем она показала на свою кровоточащую грудь,
И вскрикнула, и убежала.

XIII

Но в центре, в самой гуще
стояли щиты врагов,
И из центра громче всех
поднялся боевой клич.
Там Тибур маршировал и Педум
Под властью гордого Тарквина,
И Ферентинум из скалы,
И Габии из бассейна.
Там скакали вольские помощники:
Там, в темном суровом кольце,
Римские изгнанники собрались
Вокруг древнего царя.
Хоть бел он, как гора Соракта,
Когда зимние ночи длинны,
Его борода струилась по поясу и по одежде,
Но сердце и рука его были крепки:
Под хрипылыми бровями
По-прежнему пылал неугасимый гнев:
И если копье дрожало в его руке,
то скорее от ненависти, чем от возраста.
Рядом с ним был Тит.
На апулийском коне,
Тит, младший Таркин,
Слишком хороший для такой породы.

XIV

Теперь с каждой стороны вожди
Дали сигнал к атаке;
И с каждой стороны пешие
Наступали с копьями и таргетом;
И с каждой стороны всадники
Вонзали шпоры в кровь,
И спереди наперед армии
Встретились с могучим ревом:
И под этой великой битвой
Земля от крови покраснела;
И, как помптинский туман поутру,
Пыль висела над головой;
И все громче и громче
С потемневшего поля
С темного поля доносились звуки боевых рогов,
лязг мечей и щитов,

Стремительный бег эскадронов, проносящихся
как вихри над равниной,
Крики истребителей,
И крики убитых.

XV

Лже-Секст выехал вперед,
Взгляд его был высок и смел;
Его корсет был из шкуры бизона,
покрытый сталью и золотом.
Как голодный орел
С Дигентской скалы
На ягненка, что бежит один
Перед стадом Бандузия,
Герминий взглянул на Секста,
И прилетел с орлиной быстротой,
Герминий на черном Остере,
Храбрый чемпион на отважном коне;
В правой руке меч
Что так хорошо держит мост,
А на шлеме корона, которую он завоевал.
Когда пал гордый Фиденей.
Горе той деве, чей возлюбленный
Перейдет ему дорогу сегодня!
Лже-Секст увидел и затрепетал,
И повернулся, и скрылся.
Как поворачивается, как летит, дровосек
В калабрийском лесу,
Когда сквозь камыши блеснет круглый глаз
той падшей крапчатой змеи;
Так повернулся, так бежал лже-Секст,
И спрятался в тылу,
За темными рядами лавинцев,
ощетинившихся гребнями и копьями.

XVI

Но далеко на севере Эбутий,
магистр рыцарей,
Дал Туберо из Норбы
Чтобы кормить порцианских коршунов.
Далее под красными копытами коней

лежал Флакк из Сетии;
Лучше бы он подрезал
Среди своих вязов в тот день.
Мамил увидел резню,
И вскинул свой золотой гребень,
И к господину рыцарей
Сквозь густой бой пробился.
Ибутий поразил Мамилия
Так яростно по щиту
Что великий владыка Тускулума
едва не покатился по полю.
Мамилий поразил Эбутия,
метко и верно,
как раз в то место, где соединяются плечо с плечом,
И пронзил его насквозь;
И храбрый Эбутий Эльва
Упал в обморок на землю:
Но толстая стена из пряжек
Охватила его.
Его клиенты из битвы
Пропустили его,
И наполнили шлем из темного озера,
И омыли ему лоб и лицо;
И когда, наконец, он открыл
Его заплывшие глаза увидели свет,
Люди говорят, что первыми словами, которые он произнес.
Было: "Друзья, как идет бой?".

XVII

А тем временем в центре
совершались великие подвиги;
Там диктатор Аулус
И Валерий сражался.
Аулус с его хорошим мечом
Кровавый проход расчистил
Туда, где среди гущи врагов
Он увидел длинную белую бороду.
Плоским светом тот добрый меч
На голову гордого Тарквина.
Он бросил копье, он бросил поводья:
Он упал, как падают мертвые.
Спустился Аулус, чтобы убить его,

С глазами, как угли огненные;
Но быстрее Тит спрыгнул вниз,
И свалил своего отца.
Латийские капитаны, римские рыцари,
Быстро спускаются на землю,
И рука об руку сражаются пешие
Вокруг древнего царя.
Сначала Тит нанес высокому Цезо
Смертельную рану в лицо;
Высокий Цезо был храбрейшим человеком
Из храбрых фабиев:
Аулус убил Рекса из Габии,
жреца святилища Юноны;
Валерий сразил Юлия,
из великого рода Юлиев в Риме;
Юлий, покинувший свой дом,
высоко на холме Велиан,
И сквозь все беды и горести
следовал за гордым Тарквином.
Теперь прямо напротив гордого Тарквина
Юлий лежал трупом;
И Тит застонал от ярости и горя,
И на Валерия набросился.
Валерий ударил Тита,
и срубил половину его гребня;
Но Тит заколол Валерия
Пролет глубоко в грудь.
Как мачта, сорванная бурей,
Валерий покачнулся и упал.
Ах! Горе мне за добрый дом.
Который любит народ!
громко закричали латиняне;
И в едином порыве понесли
Сражающихся римлян назад
На три копья и больше:
И подняли гордого Тарквина,
И положили его на щит,
И четверо сильных йоменов понесли его,
все еще бесчувственного, с поля.

XVIII

Но все ожесточенней бой

Вокруг мертвого Валерия;
Тит тащил его за ноги.
А Аулус - за голову.
"Вперед, латины, вперед!" - твердил Тит,
"Смотрите, как летят мятежники!"
"Римляне, стойте твердо!" - сказал Аулус,
"Победите в этой битве или умрите!"
Они не должны отдавать Валерия
Ворону и коршуну;
Ведь Валерий всегда ненавидел зло,
И всегда отстаивал правоту:
И за ваших жен и младенцев
В первом ряду он пал.
Играйте теперь мужчины за добрый дом.
Который любит народ!"

XIX

И тогда вокруг тела
Рев битвы поднялся,
Как рев горящего леса,
когда дует сильный северный ветер,
То назад, то вперед,
Яростно раскачивая бой,
Пока никто не смог разглядеть Валерия,
И никто не знал, где он лежит.
И дрожащее оружие и знамена
были свалены в кучу,
И трупы, и умирающие.
Что корчились и грызли землю;
И раненые кони брыкались,
И фыркали пурпурной пеной:
Вполне подобало такое ложе
Римскому консулу.

XX

Но на север смотрел Диктатор;
Долго и пристально смотрел он на север,
И заговорил с Каем Коссом,
Капитану своей гвардии;
"Кайус, из всех римлян
У тебя самое острое зрение,

Скажи, что сквозь бурю пыли
Идет от латинян справа".

XXI

Тогда отвечал Каюс Косс:
"Я вижу злое зрелище;
Знамя гордого Тускула
Несется с латийской правой стороны;
Я вижу всадников с плюмажами;
И далеко впереди всех
Я вижу темно-серого всадника,
Я вижу пурпурный жилет;
Я вижу золотой шлем.
Что сияет вдали, как пламя;
Так скачет Мамиллий,
Принц латийский".

XXII

"Теперь слушай, Кай Коссус:
Вскочи на коня своего;
Скачи, как волки Апеннин
По следу твоему;
Спеши к нашей битве на юге:
И не опускай поводьев.
Пока не найдешь Герминия,
И проси его приехать".

XXIII

Так говорил Аулус, и повернул его
Вновь к яростной схватке;
И Кай Косс сел на коня,
И поскакал на смерть и жизнь.
Громко стучали копыта его коня.
Шлемы убитых,
И много кровавых луж
забрызгала его с ног до головы.
Так он дошел до юга,
где сражалось римское войско,
Против знамен болотных
И знамена побережья.

Как кукуруза перед серпом
Падали крепкие ланиныцы,
Под острием верного меча.
Который так хорошо держал мост.

XXIV

"Герминий! Аулус приветствует тебя;
Он просит тебя прибыть поскорее,
Чтоб помочь нашей центральной битве,
Ибо в ней мы очень нуждаемся;
Там воюет младший Таркин,
И там Гребень Пламени,
Тускуланский Мамилий,
принц из рода Лациев.
Валерий пал, сражаясь
Перед нашим строем;
И Аулус из семидесяти полей
Один поддерживает день".

XXV

Герминий бил себя в грудь:
Но ни слова не проронил.
Он похлопал рукой по гриве Остера,
И встряхнул поводья.
Вдаль, вдаль понесся Остер,
как стрела из лука:
Черный Остер был самым быстрым конем
От Ауфида до По.

XXVI

Рады были все римляне.
Кто в тот грозный час
Против великих шансов, что война
Вокруг погибшего Валерия,
Когда с юга ликование
С юга ликование поднялось;
"Герминий идет, Герминий,
Кто так хорошо держал мост!"

XXVII

Мамилий увидел Герминия,
И бросился наперерез.
"Герминий! Я искал тебя
В течение многих кровавых дней.
Один из нас двоих, Герминий,
Никогда больше не вернется домой.
Я буду сражаться за Тускулум,
А ты - за Рим!"

XXVIII

Вокруг них затихла битва,
Пока в смертельной схватке
Римлянин и тускуланец,
Кони черные и серые.
Герминий поразил Мамилия
Через нагрудник и грудь,
И быстро потекла пурпурная кровь
По пурпурному жилету.
Мамилий поразил Герминия
Через головной убор и через голову,
И бок о бок эти гордые вожди,
вместе упали замертво.
Они вместе упали замертво
В великом озере крови;
И все еще стояли все, кто видел их падение.
Пока люди могли бы сосчитать счет.

XXIX

Быстро, быстро, с диким стуком каблуков,
Темно-серый конь бежал:
Он прорвался сквозь ряды сражающихся,
Он пронесся над грудями мертвецов.
Его уздечка далеко разлетелась,
Его бока в крови и пене,
Он устремился к южным горам,
К родным горам.
Перевал был крут и изрезан,
Волки выли и выли;
Но он, как вихрь, взлетел на перевал,
И оставил волков позади.

Через множество испуганных деревень
 гремели его летящие ноги;
Он промчался через ворота Тускулума,
 Он промчался по длинной белой улице;
Он промчался мимо башен и храмов,
 И не останавливался в своем беге.
Пока не предстал перед дверью своего хозяина
 На величественной рыночной площади.
И сразу же вокруг него собралась
 Бледная и дрожащая толпа,
И когда они узнали его, раздались крики ярости
 И громко закричали, и зарыдали:
И женщины распускали свои локоны
 О падении великого князя;
А старики надели свои старые мечи,
 И пошли на стену.

XXX

Но, как высеченный образ,
 Черный Остер оставался на своем месте,
И с тоской смотрел
 в лицо своего хозяина.
Человек-ворон, который ежедневно,
 С поглаживаниями и нежными ласками,
юная Эрминия мыла и расчесывала,
 И закручивала в ровные локоны,
И украшала цветными лентами
 Из своего нарядного платья,
Грустно висела над трупом отца.
 В резне и в трясине.
Вперёд с криком выскочил Тит,
 И схватил черного Остера за поводья.
Тогда Аурус произнес страшную клятву,
 и бросился на него.
"Фурии брата твоего
 Со мной и со мной останутся,
Если кто-нибудь из твоего проклятого дома
 На черный Остер прискачет!"
Как на альпийской сторожевой башне
 С небес спускается пламя,
Как на шею Тита
 Клинок Ауруса опустился:

И хлынула красная кровь,
По широкой дуге и в высоту,
Как бьет фонтан во дворе
В зале богатого Капуана.
Колени всех латинян
Ослабли от ужаса,
Когда мертвый, мертвый Герминий
лежал храбрейший Таркин.

XXXI

И диктатор Аулус
Погладил вороную гриву Аустера,
Внимательно смотрел на подпруги,
Внимательно следил за поводьями.
"Теперь неси меня, черный Остер,
В этот густой строй;
И мы с тобой отомстим
За господина твоего доброго в этот день".

XXXII

Так говорил он; и застегивал
Покрепче застегнул черный пояс Остера,
Когда он увидел княжескую пару.
Что ехала по правую руку от него.
Так похожи они были, что ни один смертный
Не смог бы отличить одного от другого:
Белые как снег доспехи их были:
И кони их были белы как снег.
Никогда на земной наковальне
Не сверкали столь редкие доспехи;
И никогда столь галантные кони
Не пили из земного ручья.

XXXIII

И все, кто видел их, трепетали,
И бледнели все щеки;
И диктатор Аулус
С трудом обрел голос, чтобы говорить.
"Скажи, каким именем зовут тебя люди?
Какой город - ваш дом?"

И почему ты в таком обличье скачешь
Перед строем Рима?"

XXXIV

"Многими именами зовут нас люди;
Во многих землях мы живем:
Хорошо знает нас Самофракия;
Хорошо знает нас Киринея.
Наш дом в прекрасном Тарентуме
Каждый день по утрам увешан цветами:
Высоко над мачтами Сиракуз
возвышается наш мраморный портал;
Но у гордого Евротаса
Наш дорогой родной дом;
И за право мы пришли сражаться
Перед строем Рима".

XXXV

Так отвечали те странные всадники,
И каждый опустил свое копье;
И тотчас все ряды Рима
Были смелы и бодры:
И на тридцать армий
Пришли в изумление и ужас,
И Ардея дрогнула слева,
А Кора - справа.
"Рим в атаку!" - вскричал Аулус;
"Враг начинает сдаваться!
Заряжайте очаг Весты!
Заряжайся на Золотой щит!
Пусть никто не останавливается, чтобы пограбить,
но убивать, и убивать, и убивать;
Боги, живущие вечно.
На нашей стороне сегодня".

XXXVI

Тогда яростный трубный звук
От земли до небес пронесся,
Змеи хорошо знают, что за длинный взмах кормы
Что приказывает римлянам закрыться.
Тогда добрый меч Аулуса
Был поднят для убийства;

Потом, как с Апеннин, со скалы,
Промчался Остер сквозь бой.
Но под этими странными всадниками
Еще гуще лежали убитые;
И за теми странными конями
Черный Остер тщетно рвался вперед.
За ними долгая битва Рима
Надвигалась на врага,
Над ними дико пляшут знамена,
Клинки все в строю внизу.
Так и По в половодье
На кельтской равнине;
Так приходит шквал, чернее ночи,
на Адриане.
Теперь, клянусь нашим сиром Квирином,
Это было прекрасное зрелище.
Видеть, как тридцать штандартов
Сметая с лица земли прилив бегства.
Так летят брызги Адрии
Когда дует черный шквал.
Так кукурузные снопы в половодье
Кружатся в водовороте По.
Лже-Секст к горам
Повернул сначала голову своего коня;
И быстро бежал Ферентинум,
И быстро бежал Ланувий.
Всадники Номенты
С трудом вырвались из схватки;
Пешие из Велитры
Отбросили щит и копье.
И под ногами топтались,
Среди грязи и крови,
Знамя гордого Тускулума,
Которое никогда не опускалось:
И пал Флавий Фаустус,
который вел свои величественные ряды
Оттуда, где яблони цветут
На эхом отдающихся берегах Анио,
И Тулл из Арпинума,
вождь вольскианцев,
И Метий с длинными прекрасными кудрями,
Любовь девиц Анксур,а,
И белая голова Вульса,
Великий арикийский провидец,
И Непос из Лаврентия.
охотник на оленей;
И в спине ложный Секст
Почувствовал добрую римскую сталь,
И, извиваясь в пыли, он умер,

Как червь под колесом:
И беглецы, и преследователи
 смешались в одну массу;
И вдали битва
 Пронеслась через перевал.

XXXVII

Семпоний Атратин
 Сидел в восточных воротах,
Рядом с ним сидели три Отца,
 каждый в своем государственном кресле;
Фабий, чьи девять крепких внуков
 В тот день были в поле,
И Манлий, старший из двенадцати.
 Которые хранят Золотой щит;
И Сергей, верховный понтифик,
 За мудрость прославленный;
Во всех колледжах Этрурии
 Не было такого понтифика.
И все вокруг портала,
 И высоко над стеной
Стояла большая толпа народа,
 Но все были печальны и молчаливы;
Юноши и старцы, что сгорбились.
 Которые не в силах нести почту,
Матроны с дрожащими губами,
 И девы с бледными лицами.
С первого отблеска дневного света,
 Семпроний не переставал
Прислушиваться к топоту
 конских копыт с востока.
Поднимался предвечерний туман,
 Солнце торопилось зайти,
Когда он заметил княжескую пару.
 Быстро мчащуюся к городу.
Они были так похожи, что человек никогда
 никогда не видел таких близнецов;
Красны от крови были их доспехи,
 И кони их были красны от крови.

XXXVIII

"Слава великому убежищу!
 Слава семи вершинам холмов!
Слава огню, что горит вечно,
 И щит, упавший с небес!
В этот день, у озера Региллус,
 Под Порцианской высотой,

Во всех землях Тускулума
 Произошла славная битва.
Завтра твой диктатор
 Принесет с триумфом домой
Трофеи тридцати городов
 Чтобы украсить святыни Рима!"

XXXIX

И тут раздался из толпы
 Крик, от которого задрожали башни,
И одни побежали на север, другие - на юг,
 С криком: "День наш!"
Но ехали эти странные всадники,
 медленным и величественным шагом;
И никто из тех, кто видел их походку.
 Не спрашивал их имени и расы.
Поехали они к Форуму,
 В лавровых ветвях и цветах,
с вершин домов и из окон,
 Падали на их гребни дождем.
Когда они приблизились к Весте,
 Они спустились вниз по склону,
И омыли коней в колодце.
 Что бьет у фейна Весты.
И снова выпрямились,
 И поскакали к Весте;
А потом, как взрыв, унеслись прочь,
 И никто их больше не видел.

XL

И весь народ задрожал,
 И побледнели все щеки;
И Сергей, верховный понтифик
 Один нашел голос, чтобы сказать:
"Боги, живущие вечно
 Сражались за Рим сегодня!
Это великие братья-близнецы.
 Которым молятся дорийцы".
Возвращается вождь с триумфом,
 Кто в час битвы
Увидел Великих братьев-близнецов
 В упряжке справа от него.
Корабль в безопасности добирается до гавани,
 Сквозь бури и шторма,
Если однажды Великие братья-близнецы
 На парусах сияют.
Поэтому они омыли своих коней

В священном колодце Весты,
Почему они скакали к дверям Весты,
Я знаю, но не могу сказать.
Здесь, у храма Весты,
Построим мы величественный купол
В честь великих братьев-близнецов.
Которые так хорошо сражались за Рим.
И когда вернутся месяцы
Верните этот день борьбы,
Гордые иды Квинтилиса,
И навсегда останутся белыми,
К великим братьям-близнецам
Пусть соберется весь народ,
С часами и подношениями,
С музыкой и песнями;
И пусть двери и окна
Гирляндами пусть будут увешаны,
И пусть рыцарей созывают
На Марс за стеной:
А оттуда пусть скачут в пурпуре
С радостным трубным звуком,
Каждый на своем боевом коне,
И каждый оливковой короной увенчан;
И пройдут в торжественном порядке
Перед священным куполом,
Где обитают великие братья-близнецы.
Которые так хорошо сражались за Рим".

Вирджиния

Сборник, состоящий исключительно из военных песен, дал бы несовершенное, а скорее даже ошибочное представление о духе старых латинских баллад. Патриции в течение более чем столетия после изгнания королей занимали все высшие военные должности. Плебеи, даже если они, как Луций Сикций, отличались доблестью и знанием войны, могли служить только на подчиненных должностях. Поэтому менестрель, желающий воспеть ранние триумфы своей страны, вряд ли мог взять в герои кого-либо, кроме патриция. Воины, упомянутые в двух предыдущих строфах, Гораций, Ларций, Герминий, Аурус Постумий, Айбутий Эльва, Семпроний Атрин, Валерий Попликола, принадлежали к господствующему сословию; и поэт, воспевающий их хвалу, какими бы ни были его собственные политические

взгляды, естественно, воздержится от оскорбления сословия, к которому они принадлежали, и от размышлений о системе, поставившей таких людей во главе легионов Содружества.

Но был класс сочинений, в которых к великим семьям относились отнюдь не так учтиво. Ни одна часть ранней римской истории не имеет более богатого поэтического колорита, чем та, что связана с длительной борьбой между привилегированными домами и простонародьем. Население Рима с самого начала было разделено на наследственные касты, которые, правда, охотно объединялись для отражения внешних врагов, но в течение многих лет относились друг к другу с ожесточенной враждебностью. Между этими кастами существовал барьер, едва ли менее прочный, чем тот, который в Венеции отделял членов Большого совета от их соотечественников. В некоторых отношениях линия, отделявшая Ицилия или Дуилиуса от Постумия или Фабия, была даже более глубокой, чем та, что отделяла гребца гондолы от Контарини или Морозини. В Венеции это различие было чисто гражданским. В Риме оно было и гражданским, и религиозным. Среди обид, от которых страдали плебеи, три ощущались как особенно тяжелые. Они были отстранены от высшей магистратуры; они были лишены всякой доли в общественных землях; и они были стерты в пыль частичным и варварским законодательством, касающимся денежных контрактов. Правящий класс в Риме был денежным классом; он принимал законы и управлял ими, ориентируясь исключительно на свои собственные интересы. Таким образом, отношения между кредитором и заемщиком были смешаны с отношениями между государем и подданным. Великие люди держали в зависимости большую часть общества, выдавая авансы по огромным ростовщическим ставкам. Долговой закон, созданный кредиторами и для защиты кредиторов, был самым ужасным из всех, которые когда-либо существовали среди людей. Свобода и даже жизнь несостоятельных людей находились во власти патрицианских ростовщиков. Дети часто становились рабами из-за несчастий своих родителей. Должника заключали не в общественную тюрьму под присмотром беспристрастных государственных чиновников, а в частный работный дом, принадлежащий кредитору. Об этих подземельях рассказывали страшные истории. Говорили, что пытки и жестокие издевательства были обычным делом; что тугие колодки, тяжелые цепи, скудные порции пищи использовались для наказания несчастных, виновных лишь в бедности; что храбрые солдаты, чья грудь была покрыта почетными шрамами, часто были еще сильнее отмечены на спине бичами высокородных ростовщиков.

Плебеи, однако, не были полностью лишены конституционных прав. С ранних времен они были допущены к некоторой доле политической власти. Они были зачислены каждый в свой век, и им была предоставлена доля, значительная, хотя и не пропорциональная их численности, в распоряжении теми высокими должностями, от которых они сами были отстранены. Таким образом, их положение имело некоторое сходство с положением ирландских католиков в период между 1792 и 1829 годами. Плебеи также имели привилегию ежегодно назначать должностных лиц, называемых трибунами, которые не принимали активного участия в управлении государством, но со временем приобретали власть, грозную даже для самых умелых и решительных консулов и диктаторов. Личность трибуна была неприкосновенна, и, хотя он мало на что мог повлиять напрямую, он мог помешать всему.

В течение более чем столетия после учреждения трибуната общинники вели упорную борьбу за устранение обид, от которых они страдали, и, несмотря на многочисленные препятствия и поражения, им удавалось выбивать уступку за уступкой из упрямой аристократии. Наконец, в 378 году обе стороны собрали все свои силы для последнего и самого отчаянного конфликта. Популярный и активный трибун Кай Лициний предложил три памятных закона, названных его именем, которые должны были исправить три больших зла, на которые жаловались плебеи.

Его поддержал, проявив выдающиеся способности и твердость, его коллега Луций Секстий. Судя по всему, борьба была самой ожесточенной, которая в любом обществе заканчивалась без обращения к оружию. Если бы такой поединок разгорелся в любом греческом городе, улицы были бы залиты кровью. Но даже в пароксизмах раздоров римлянин сохранял серьезность, уважение к закону и нежность к жизни своих сограждан. Год за годом Лициний и Секстий переизбирались трибунами. Год за годом, если верить дошедшему до нас рассказу, они продолжали в полной мере использовать свою власть для остановки всей государственной машины. Не могли быть выбраны курульные магистраты, не могли быть проведены военные сборы. Мы слишком мало знаем о состоянии Рима в те дни, чтобы предположить, как во время этой долгой анархии сохранялся мир и осуществлялось обычное правосудие между людьми. Вражда обеих сторон достигла величайшей высоты. Можно предположить, что волнение было особенно сильным во время ежегодных выборов трибунов. В таких случаях можно не сомневаться, что великие семьи делали все возможное, угрозами и ласками, чтобы разорвать союз плебеев. Однако этот союз оказался нерушимым. В конце концов доброе дело восторжествовало. Законы Лициния были приняты. Луций Секстий стал первым плебейским консулом, Кай Лициний - третьим.

Результаты этой великой перемены были необычайно счастливыми и славными. Два века процветания, гармонии и побед последовали за примирением порядков. Люди, которые помнили, как Рим вел мелкие войны почти в пределах видимости Капитолия, жили, видя ее хозяйкой Италии. Пока сохранялись ограничения плебеев, она с трудом удерживала свои позиции против вольскиан и герников. Когда же эти ограничения были устранены, она быстро стала более чем достойной соперницей Карфагена и Македонии.

Во время великой борьбы с Лицинием плебейские поэты, несомненно, не молчали. Даже в наше время песни не могли не влиять на общественные дела; поэтому мы можем предположить, что в обществе, где печатание было неизвестно, а книги были редкостью, патетическая или юмористическая баллада должна была произвести эффект, который мы можем лишь слабо себе представить. Несомненно, что сатирические стихи были распространены в Риме с самого раннего периода. Деревенские жители, жившие вдали от места правления и не принимавшие особого участия в распрях фракций, давали выход своей мелкой местной вражде в грубых фесценнианских стихах. Городские же насмешки, несомненно, были более высокого порядка, и их укор рано почувствовали представители знати. Ведь в Двенадцати таблицах, задолго до принятия законов Лициния, суровому наказанию подвергался тот гражданин, который сочинял или читал стихи, порицающие другого. Сатира - это, по сути, единственный вид композиции, в котором латинские поэты, чьи произведения дошли до нас, не были простыми подражателями чужих образцов; и поэтому это единственный вид композиции, в котором им никогда не было равных. Она не была, как их трагедия, комедия, эпическая и лирическая поэзия, тепличным растением, которое в ответ на усердную и искусную культуру давало лишь скудные и хилые плоды. Оно было выносливо и полно сока, и во всех разнообразных соках, которые оно давало, можно было различить аромат авзонийской земли. "Сатира, - сказал Квинтилиан со справедливой гордостью, - это все наше". Сатира возникла, по правде говоря, естественным образом из конституции римского правительства и из духа римского народа; и, хотя впоследствии она была подчинена метрическим правилам, заимствованным из Греции, до последнего сохраняла сугубо римский характер. Луцилий был самым ранним сатириком, чьи произведения пользовались уважением при Цезарях. Но за много лет до рождения Луцилия Невий был брошен в темницу и охранялся там с необычайной суровостью из-за горьких строк, в которых он нападал на великий род Цецилиев. Гений и дух римских сатириков пережили свободу своей страны и не были уничтожены жестоким деспотизмом императоров

Юлиана и Флавиана. Великий поэт, рассказавший историю о тюрбо Домициана, был законным наследником тех забытых менестрелей, чьи песни оживляли фракции младенческой республики.

Эти менестрели, как заметил Нибур, как правило, выступали на стороне народа. Вряд ли мы ошибемся, если предположим, что во время великого кризиса гражданского конфликта они занимались тем, что пересказывали все самые сильные и яростные речи трибунов и осыпали поношениями лидеров аристократии. Каждый личный недостаток, каждый домашний скандал, каждая традиция, позорящая благородный дом, выискивались, становились достоянием гласности и преувеличивались. Прославленный глава аристократической партии Марк Фурий Камилл, возможно, был бы в какой-то мере защищен своим почтенным возрастом и памятью о великих заслугах перед государством. Но Аппий Клавдий Красс не обладал подобной неприкосновенностью. Он происходил из длинного рода предков, отличавшихся надменным поведением и непреклонностью, с которой они противостояли всем требованиям плебейских порядков. В то время как политическое поведение и манеры Клавдиевой знати вызывали к ним самую яростную ненависть, их обвиняли в отсутствии, если верить ранней истории Рима, качеств, которых в военном содружестве достаточно для покрытия множества преступлений. Главы семейства, похоже, были красноречивы, сведущи в гражданских делах и образованы по моде своего века; но на войне они не отличались ни мастерством, ни доблестью. Некоторые из них, словно осознавая свою слабость, при занятии высших должностей брали на себя управление внутренними делами, а военное командование оставляли своим коллегам. Одному из них была доверена армия, и он бесславно провалился. Ни один из них не удостоился триумфа. Никто из них не совершил ни одного боевого подвига, подобного тем, которыми Луций Квинкций Цинциннат, Тит Квинкций Капитолин, Аулус Корнелий Косс и, прежде всего, великий Камилл, снискали неохотное уважение народа. Во время конфликта с Лицинием Аппий Клавдий Красс отличился умением и суровостью, с которыми он выступал против двух великих агитаторов. Поэтому он, естественно, стал любимым объектом плебейских сатириков, и они не могли найти ни одного пункта, по которому его можно было бы атаковать.

Его дед, которого, как и его самого, звали Аппием Клавдием, оставил после себя имя, столь же ненавистное, как и Секст Тарквиний. Этот старший Аппий был консулом более чем за семьдесят лет до введения законов Лициния. Воспользовавшись необычным кризисом общественного чувства, он добился согласия общинников на отмену трибунства и возглавил Совет десяти, которому было передано все управление государством. Через несколько месяцев его правление стало повсеместно одиозным. Оно было сметено непреодолимой вспышкой народного гнева, и память о нем до сих пор вызывает отвращение у всего города. Считалось, что непосредственной причиной падения этого отвратительного правительства стало покушение Аппия Клавдия на целомудрие прекрасной девушки скромного происхождения. Рассказывали, что децемвир, не сумев добиться успеха взятками и уговорами, прибег к возмутительному акту тирании. Некий гнусный иждивенец из дома Клавдиев претендовал на девицу как на свою рабыню. Дело было передано в трибунал Аппия. Нечестивый судья, не взирая на самые очевидные доказательства, вынес решение в пользу истца. Но отец девушки, храбрый воин, спас ее от рабства и бесчестья, пронзив ей сердце на глазах у всего форума. Этот удар послужил сигналом к всеобщему взрыву. Лагерь и город разом поднялись; Десятка была снесена; трибунство восстановлено; Аппий избежал руки палача только благодаря добровольной смерти.

Можно не сомневаться, что история, столь замечательно подходящая для целей поэта и демагога, была бы охотно подхвачена менестрелями, пылающими ненавистью к

патрицианскому ордену, к дому Клавдиев и особенно к внуку и тезке печально известного Децемвира.

Чтобы читатель мог справедливо судить об этих фрагментах светской жизни Виргиния, он должен представить себя плебеем, который только что проголосовал за переизбрание Секстия и Лициния. Вся мощь патрициев была направлена на то, чтобы выкинуть двух великих поборников общин. Каждый Постумий, Эмилий и Корнелий использовал свое влияние по максимуму. Должников выпускали из работных домов под условием голосования против народных избранников; клиентов посылали шипеть и перебивать любимых кандидатов; Аппий Клавдий Красс выступал с более чем обычным красноречием и язвительностью: все было напрасно, Лициний и Секстий в пятый раз провели все трибы: работа приостановлена; кабинки закрыты; плебеи несут на своих плечах двух поборников свободы через Форум. Как раз в этот момент объявляют, что великий поэт, ревностный приверженец трибунов, сочинил новую песню, которая до глубины души ранит вельмож Клавдиана. Толпа собирается вокруг него и призывает его прочесть ее. Он занимает место на том месте, где, по преданию, Виргиния более семидесяти лет назад была схвачена пандаром Аппием, и начинает свой рассказ.

Вирджиния

Фрагменты песнопений, исполненных на Форуме в тот день, когда Луций Секстий Секстин Латеран и Кай Лициний Кальвус Столо были избраны трибунами общин в пятый раз, в год города CCCLXXXII.

Вы, добрые люди общины, с любящими сердцами и правдой,
которые поддерживают смелых трибунов, которые до сих пор поддерживают вас,
Постройте вокруг меня круг и внимательно слушайте мой рассказ,
Рассказ о том, что Рим когда-то вынес, О том, что Рим еще может вынести.
Это не греческая басня о фонтанах, бьющих вином,
о девах с вьющимися локонами или моряках, превращенных в свиней.
Здесь, на этом самом Форуме, под полуденным солнцем,
на глазах у всего народа, было совершено кровавое деяние.
Среди нас до сих пор ходят старики, видевшие тот страшный день,
семьдесят лет и семь лет назад, когда злая десятка одержала верх.

Имена всех нечестивых Десяти до сих пор остаются проклятыми,
И из всей этой нечестивой десятки Аппий Клавдий был самым страшным.
Он шел по Форуму, как царь Таркин в своей гордыне:
Двенадцать топоров ждали его, по шесть на сторону;
Горожане шарахались вправо и влево и со страхом смотрели на него.
Его опущенные брови, его искривленный рот, который, казалось, всегда
усмехался;
Этот лоб ненависти, этот рот презренья, Отмечает вся родня
до сих пор;
Ибо никогда еще Клавдий не желал зла общине;
Не хватало ему и присутствия, ибо он шел по пятам,
с вытянутым подбородком и приземистым шагом, клиент Маркус
крадется,

Его чресла подпоясаны, чтобы бежать быстро, каково бы ни было поручение,
И улыбка мерцает на его щеке, если только его господин может
сказать.
Такие варлеты сутенерствуют и шутят по найму среди лживых греков:
Таким варлетам еще платят за то, что они улюлюкают, когда говорит храбрый Лициний.
Там, где вы прольете мед, соберутся жужжащие мухи;
Там, где ты бросишь падаль, ворон крикнет громко;
Где по Тибру мусор плывет, там жадную щуку ты видишь;
И где бы ни нашелся такой господин, такой клиент все равно будет.

И тут, как сквозь безоблачный просвет в черном грозовом небе
сияет росистая утренняя звезда, появилась прекрасная девушка.
С маленькими планшетами в руке и ранцем на плече,
Она шла из школы домой, не думая ни о стыде, ни о
вреде;
И мимо страшных топоров невинно пробежала,
С ярким откровенным челом, не научившимся краснеть под взглядом
человека;
И на Священную улицу она свернула, и, танцуя,
Она весело напевала про себя строчки старой доброй песни,
О том, как принцы на спор прискакали из лагеря,
И нашли Лукрецию, расчесывающую руно, под полуночным фонарем.
Дева пела, как поет жаворонок, когда взлетает ввысь,
из своего гнезда в зеленой апрельской кукурузе, чтобы встретить утренний свет;
И Аппий услышал ее милый юный голос и увидел ее милое юное лицо.
лицо,
И полюбил ее проклятой любовью своего проклятого рода,
И по всему Форуму, и по Священной улице
Его глаз стервятника преследовал путь этих маленьких сверкающих ножек.

.....

Над Альбанскими горами забрезжил утренний свет;
Над всеми крышами Семи холмов вились тонкие венки дыма.
дыма:
Городские ворота были открыты; Форум весь ожил
Покупателями и продавцами гудел, как улей:
По латуни и дереву звенели удары ремесленников,
И беззаботно пела рыночная девушка,
И беззаботно юная Вирджиния шла, улыбаясь, из дома своего:
Ах, горе юной Вирджинии, самой милой деве в Риме!
С маленькими скрижалями в руке, с ранцем на плече,
В школу она шла, не зная ни стыда, ни зла.
вреде.
Она пересекла Форум, сверкающий лавками и аллеями,
И только что достигла того самого места, где я стою сегодня,
Когда к ней подошел варлет Маркус; не такой, как в былые времена.
Он с улыбкой истинного клиента приседал за пятки своего покровителя:

Он пришел с опущенным лбом, опухшими чертами лица и сжатым кулаком,
И, переступив порог Вирджинии, схватил ее за запястье.
Испуганная девица с трудом держалась на ногах и кричала от ужаса;
На ее крик справа и слева быстро сбежались люди;
Криспус, торговец деньгами, с тонкими серебряными волосами,
И Ханно из величественной будки, сверкающей пунийскими товарами,
И сильный кузнец Мурена, держащий полукованное клеймо,
И Волеро, мясник, с тесаком в руке.
Все пришли в гневе и удивлении, ибо все знали это прекрасное дитя;
И, когда она проходила мимо них дважды в день, все целовали руки и улыбались;
А сильный кузнец Мурена нанес Маркусу такой удар,
Каитиф отшатнулся на три шага назад и отпустил девицу.
Но он свирепо озирался по сторонам и рычал резким, упавшим тоном.
тоном,
"Она моя, и она будет у меня, я ищу только свою:
Она - моя рабыня, рожденная в моем доме, украденная и проданная,
В год тяжелой болезни, когда ей не было и двенадцати часов от роду.
Это было в печальном сентябре, месяце плача и страха,
Два шнека вынесли утром; консул умер ночью.
Я жду Аппия Клавдия, я ждал его отца:
Пусть тот, кто делает заказчику зло, остерегается гнева покровителя".

Так говорил варлет Маркус; и ужас, и тишина наступили
На весь народ при звуке великого имени Клавдия.
Ибо тогда не было трибуна, чтобы произнести слово могущества,
Которое заставляет трепетать богача и охраняет право бедняка.
право бедняка.
Не было тогда ни храброго Лициния, ни честного Сикстия;
Но весь город в великом страхе повиновался нечестивому Десятирукому.
Но не успел варлет Маркус снова схватить девицу,
которая крепко вцепилась в юбку Мурены, и рыдала, и кричала о помощи.
помощи,
Вперед сквозь толпу зрителей протиснулся юный Ицилий,
И топнул ногой, и разорвал платье, и ударил себя в грудь.
грудь,
И вскочил на колонну, воспетую многими менестрелями,
Где висят три заплесневелых шлема, три ржавых меча,
И обратился к народу, и смелым голосом и ясным
И быстро и густо лил горячие слова, Которые тираны с трепетом
услышать.

"Теперь, у колыбелей ваших детей, теперь у могил ваших отцов
могилы ваших отцов,
Станьте людьми сегодня, квиниты, или будьте рабами навеки!
Для этого ли Сервий дал нам законы? Ради этого пролила кровь Лукреция?
За это ли великое возмездие свершилось над злым семенем Тарквина?
Ради этого лживые сыновья окрасили в красный цвет топоры своих предков?

За это правая рука Сцеволы шипела в тосканском огне?

Должна ли мерзкая лисья земля благоговеть перед родом, штурмовавшим львиное логово? логово льва?

Должны ли мы, которые не могли смириться с одним владыкой, преклониться перед нечестивой десяткой?

О, ради того древнего духа, что обуздал волю сената!

О, о шатрах, которые в давние времена белили Священный холм!

В те храбрые дни наши отцы крепко стояли плечом к плечу;

Они противостояли ярости Марциана, укрощали гордость Фабиана:

Они изгнали из Рима самого свирепого Квинкция;

Они отправили домой самого грозного Клавдия с дрожащими фасками.

Но то, что завещали нам их заботы, наше безумие отбросило:

Все спелые плоды трехсот лет были уничтожены в один день.

Ликуйте, гордые патриции! Тяжелая борьба окончена.

Мы боролись за почести - напрасно; за свободу - больше нет.

Ни один глашатай не созывает жаждущую толпу;

Ни один трибун не произносит слово силы, защищающее слабых от зла.

Наши сердца, которые были так высоки, падают под вашей волей.

Богатство, и земли, и власть, и государство - у вас они есть, оставьте их себе по-прежнему.

Сохрани священные оковы, сохрани пурпурную мантию,

Топоры, и кресло курульное, и машину, и лавровый венец:

По-прежнему давите нас своими когортами, И, когда закончится бой,

По-прежнему наполняйте ваши амбары землей, которую наши добрые мечи завоевали.

По-прежнему, как распространяющаяся язва, которую не могут вылечить пиявки,

Пусть ваши нечистые пристрастия разъедают имущество бедняков.

Пусть ваши изможденные должники несут все, что несли их отцы;

Пусть в ваших норах мучений будет шумно, как в былые времена;

Ни огня, когда замерзает Тибр, ни воздуха в звездный зной;

И пусть у вас будут прутья для спин свободнорожденных и дыры для ног свободнорожденных.

ног.

Еще тяжелее оковы, еще ближе решетка;

Терпеливо, как овцы, мы отдаемся на волю вашей жестокой ненависти.

Но, клянусь тенями под нами и богами над нами,

Не добавляйте к своей жестокой ненависти еще более жестокую любовь!

Разве нет среди вас изящных дам, чей безупречный род берет начало

От консулов, верховных понтификов и древних королей Альбана?

Дамы, которые не осмеливаются ступить по нашим дорогам своими нежными ногами,

Которые из своих машин с презрением взирают на удивленные улицу,

Кто в коринфских зеркалах созерцает свои гордые улыбки,

И вдыхают капуанские запахи, и сияют испанским золотом?

Тогда оставьте бедному плебею его единственную связь с жизнью -

Сладкую, сладкую любовь дочери, сестры и жены,

Нежные речи, бальзам для его измученной души,

Поцелуй, в котором он наполовину забывает даже о таком ярме, как ваше.

Пусть девичья красота раздувает отцовскую грудь от гордости.
гордостью;
Пусть руки жениха заключают в объятия незапятнанную невесту.
Избавь нас от неопишемого зла, от неимоверного стыда,
Который сердце труса превращает в сталь, кровь нерасторопного - в пламя.
пламя,
Чтобы, когда угаснет наша последняя надежда, вы не вкусили нашего отчаяния,
И узнаете на опыте, в дикий час, Как много несчастные
смелости."

.....

.....

Сразу же Виргиний повел служанку немного в сторону,
туда, где стояли вонючие развалины, заваленные рогожей и шкурами,
Вплотную к низкому темному проему, где в багровом потоке
стекает в сточную канаву бурлящий поток крови.
Неподалеку от него мясник на блоке положил свой хлыст:
Виргиний подхватил его и спрятал в платье.
И тут глаза его сильно помутнели, а горло начало раздуваться,
И хриплым, изменившимся голосом он проговорил: "Прощай, милое дитя!
Прощай!
О! Как я любил мою дорогую! Хоть и суров я порой бываю,
Для тебя, ты знаешь, я не был таким. Кто может быть таким с тобой?
А как любила меня моя дорогая! Как рада она была слышать
мои шаги на пороге, когда я вернулся в прошлом году!
И как она танцевала от радости, увидев мою гражданскую корону,
И взяла мою шпагу, и повесила ее, и принесла мне мою мантию!
Теперь все это позади - да, все твои прелести,
Твои рукоделья, твоя болтовня, Твои обрывки старых песен;
И никто не печалится, когда я ухожу, и не улыбается, когда я возвращаюсь,
И никто не будет смотреть на кровать старика, И не будет плакать над его урной.
Дом, который был самым счастливым в римских стенах,
Дом, который не завидовал богатству мраморных залов Капуи,
Теперь, за яркость твоей улыбки, Должен вечный мрак обрести,
А для музыки твоего голоса - тишина могилы.
Время пришло. Смотрите, как он направляет свою руку в ту сторону!
Смотрите, как злорадствует он над вашим горем, как коршун над добычей!
При всем своем остроумии он не догадывается, что, отвергнутый, преданный,
покинутый,
У отца твоего в отчаянии осталось одно страшное убежище.
Он не понимает, что в этой руке я сжимаю то, что еще может спасти
Юность нежную твою от насмешек и ударов, Удел раба;
Да, и от безымянного зла, что проходит мимо насмешек и ударов.
От нечисти, которой ты не знаешь и никогда не узнаешь.
Тогда еще раз обними меня за шею и еще раз поцелуй.
поцелуй;
А теперь, моя дорогая девочка, нет иного пути, кроме этого".

С этими словами он высоко поднял сталь и ударил ее в бок,
И, обливаясь кровью, она опустилась на землю и с одним всхлипом умерла.

На мгновение все люди затаили дыхание;
И в переполненном Форуме воцарилась смертная тишина;
А еще через мгновение раздался всеобщий
крик, как если бы вольскианцы шли через стену.
Некоторые с закрытыми лицами с воплями бежали домой;
Кто-то побежал звать пиявку, а кто-то - поднимать убитых;
Кто-то ощупывал ее губы и запястье, чтобы понять, есть ли там жизнь.
найти;
А некоторые рвали на себе одежду и пытались зашить рану.
рану.
Напрасно они бежали, и ощупывали, и затихали, Ибо никогда не было более верного удара.
Не наносила в бою вольскианскому врагу эта добрая правая рука.

Когда Аппий Клавдий увидел это деяние, он содрогнулся и упал.
вниз,
И скрыл лицо углом платья,
Пока, с белыми губами и налитыми кровью глазами, Виргиний не подошел
приблизился,
И встал перед судейским местом, и высоко поднял нож.
"О, обитатели мрака, мстители за убитых!
этой дорогой кровью я взываю к вам, восстановите справедливость между нами;
И как Аппий Клавдий поступил со мной и со своими,
Поступите вы с Аппием Клавдием и всем родом Клавдиев!"
Так сказал убийца своего ребенка и, повернувшись, пошел своей дорогой;
Но сначала он бросил тоскливый взгляд на то место, где лежало тело,
И корчился, и стонал от ужаса, А потом, с твердой
ногами,
Через рыночную площадь к Священной улице направился.

Тогда вскочил Аппий Клавдий: "Остановите его, живого или мертвого!
Десять тысяч фунтов меди тому, кто принесет его голову".
Он посмотрел на своих клиентов, но ни один не исполнил его волю.
Он посмотрел на своих ликторов, но те дрожали и стояли на месте.
И, как Виргиний сквозь пресс, путь его в тишине расщеплялся,
И могучая толпа отступила направо и налево.
И он благополучно добрался до своего печального дома,
И там сел на коня, чтобы рассказать в лагере, какие подвиги совершаются в Риме.
Риме.

Так со всех сторон хлынул поток людей,
И улицы и подъезды вокруг были заполнены этим бурным потоком.
приливом;
А вокруг тела собралась небольшая толпа.
Из тех, кто был ближе и роднее убитого.
Принесли они тело, обвешав его множеством кипарисовых венцов,
И бережно подняли ее, и бережно положили.

Лицо Аппия Клавдия было хмурым и ухмыляющимся, как у Клавдия,
И в голосе Клавдия прозвучали слова: "Что делает здесь этот сброд?
Неужели им нечем заняться дома, что они шатаются по улицам?
Ликторы, очистите площадь и унесите труп!"
Голос горя и ярости до этого момента не был громким;
Но среди толпы пронесся глубокий угрюмый ропот,
Как стон, что перед вихрем на глубине.
глубине,
Или рык свирепого сторожевого пса, наполовину пробудившегося ото сна.
Но когда при этих словах ликторы, все рослые и сильные,
каждый со своим топором и снопом веток, спустились в толпу,
Говорят те старики, что видели тот день печали и греха,
Что на римском форуме никогда не было такого шума.
Вопли, улюлюканье, проклятия, вопли горя и ненависти,
были слышны за Пинциевым холмом, за Латинскими воротами.
Но вокруг тела, где стояла небольшая толпа.
Из тех, кто был ближе и роднее убитого,
Не было слышно криков, только скрежет зубов, тихий шепот и черные
хмурые взгляды,
И ломались скамьи, и подпоясывались платья.
Хорошо, что ликторы не смогли пробиться к месту, где лежала дева,
Иначе бы в тот день их всех двенадцать разорвало на части.
день.
С радостью они отступали, кровь струилась из их голов.
головы,
С топорами в щепках, с одеждой в клочья.
Тогда Аппий Клавдий закусил губу, и кровь отхлынула от его щеки.
щеку,
И трижды манил он рукой, и трижды пытался
говорить;
И трижды в метательном форуме раздавался страшный вопль:
"Видишь, видишь, пес! Что ты наделал; и спрячь свой позор в
в аду!
Тот, кто хочет сделать наших девиц рабынями, должен сначала сделать рабами
мужчин.
Трибуны! Ура Трибунам! Долой нечестивую десятку!"
И тут же по воздуху со свистом пронеслись толстые, как град, камни.
воздух,
Камешки, и кирпичи, и горшки - все вокруг курульного кресла:
И на Аппия Клавдия напал великий страх и трепет,
Ибо никогда еще Клавдий не был храбр ни перед чем, кроме позора.
Хоть не любят нас великие дома, но мы их любим, чтобы делать им добро,
Что великие дома, все, кроме одного, хорошо переносили их в бою.
борьбе.
И все же Кай из Кориоли, его победы и поражения,
Его месть и его милость, живут в наших песнях у костра.
Под игом Фурия часто склонялись Галлия и Тоскана:
И Рим может терпеть гордость того, кем гордится сам.
Но вечно Клавдий сторонится пораженного поля,

И меняет цвет, как дева, при виде меча и щита.
Все триумфы Клавдиев были одержаны в городских башнях;
Клавдиево иго не давило ни на чьи шеи, кроме нашей.
Косс, как дикая кошка, вечно бросается в лицо;
Фабий, как вепрь, бросается в погоню с криком;
Но гнусный Клавдиев помет, яростно злобствуя,
Все так же рычит и огрызается на тех, кто бежит, все так же бежит от тех, кто
и от тех, кто бьет.
Так было и с Аппием. Когда в него начали лететь камни,
Он пошатнулся, и присел, и разжал руки, и ударил себя по
бедро.
"Добрые клиенты, честные ликторы, поддержите меня в этом бою!
Должен ли я быть разорван на куски? Домой, скорее домой!"
Пока он говорил, он с недоумением оглядывался по сторонам,
Четыре крепких ликтора подставили свои шеи под кресло курульного;
И четыре десятка клиентов слева, и четыре десятка справа,
мечи и шесты, и чресла подпоясаны для боя.
сражаться.
Но, хоть и без посоха и меча, так яростна была толпа,
Что едва ли обоз с силой и мощью мог донести своего господина
с собой.
Двенадцать раз толпа бросалась на него; пять раз хватали его
платье;
Мало шансов было у него подняться снова, если бы его повалили:
И все сильнее били по нему, и все чаще раздавались крики: "Трибуны!
"Трибуны! Трибуны будут!" - поднимался все громче:
И кресло затрещало, как трепещет барк с порванным парусом.
Когда бушует Адриатика под восточным штормом,
Когда калабрийские морские знаки теряются в облаках шторма,
И великий мыс Грома надел свою пелену чернильного мрака.
Один камень попал Аппию в рот, другой - под ухо;
И не дойдя до горы Палатин, он упал в обморок от боли и страха.
Его проклятая голова, которую он привык держать так высоко с гордостью,
теперь, как у пьяного, свисала вниз и качалась из стороны в сторону.
сторону;
И когда его крепкие стражники подвели его к двери,
Лицо и шея его были сплошной лепешкой грязи и крови.
Каким был Аппий Клавдий в тот день, таким пусть будет и его внук!
Господи, пошли Риму еще одно такое зрелище, и пошли меня туда посмотреть!

.....

Пророчество Каписа

Вряд ли стоит напоминать читателю, что, согласно народному преданию, Ромул, убив своего деда Амулия и восстановив деда Нумитора, решил покинуть Альбу, наследственный удел сильвийских князей, и основать новый город. Боги, добавляли они, подали самые ясные знаки благосклонности, с которой они отнеслись к этому предприятию, и о высоких судьбах, уготованных молодой колонии.

Это событие должно было стать любимой темой старых латинских менестрелей. Они, естественно, объяснили бы проект Ромула неким божественным предзнаменованием могущества и процветания, которых должен был достичь его город. Они, вероятно, ввели бы провидцев, предсказывающих победы еще не родившихся консулов и диктаторов, и последняя великая победа обычно занимала бы самое заметное место в предсказании. Нет ничего странного в предположении, что поэт, который был нанят для празднования первого великого триумфа римлян над греками, мог переложить свою песнь ликования в эту форму.

Повод был таким, что мог возбудить самые сильные чувства национальной гордости. За великим возмущением последовало великое возмездие. За семь лет до этого Луций Постумий Мегелл, происходивший из одного из знатнейших римских домов и трижды бывший консулом, был отправлен послом в Тарентум с поручением потребовать возмещения за нанесенные обиды. Тарентинцы дали ему аудиенцию в своем театре, где он обратился к ним на том греческом языке, которым мог владеть, что, как мы можем предположить, было не совсем так, как говорил бы Кинеас. Изысканное чувство смешного было присуще греческому характеру, и с ним была тесно связана сильная склонность к легкомыслию и дерзости. Когда Постумий неправильно ставил ударение, его слушатели раздражались хохотом. Когда он возражал, они улюлюкали и обзывали его варваром, а в конце концов шипением сгоняли его со сцены, как будто он был плохим актером. Как только серьезный римлянин удалился, к нему подошел шут, которого за постоянное пьянство прозвали Пинта-Пот, и, показывая жестами грубейшие непристойности, забрызгал грязью сенаторское платье. Постумий обернулся к толпе и поднял платье, как бы взывая к всеобщему закону народов. Это зрелище только усилило дерзость тарентинцев. Они захлопали в ладоши и подняли хохот, от которого содрогнулся театр. "Люди Тарентума, - сказал Постумий, - чтобы отстирать это платье, потребуется не так уж много крови".

Рим, в связи с этим оскорблением, объявил войну тарентинцам. Тарентинцы искали союзников за Ионическим морем. На помощь им пришел Пирр, царь Эпира, с большой армией, и впервые два великих народа древности оказались в честном противостоянии друг с другом.

Слава Греции как в оружии, так и в искусстве была тогда на пике. За полвека до этого карьера Александра вызывала восхищение и ужас у всех народов от Ганга до Геркулесовых столпов. Царские дома, основанные македонскими капитанами, все еще царили в Антиохии и Александрии. То, что варварские воины под предводительством варварских вождей должны выиграть сражение с греческой доблестью под руководством греческой науки, казалось столь же невероятным, как сейчас кажется, что бирманцы или сиамцы должны на открытой равнине обратить в бегство равное количество лучших английских войск. Тарентинцы были убеждены, что их соотечественники неодолимы в войне, и это убеждение подстегивало их обращаться с грубейшими оскорблениями к тем, кого они считали представителем низшей расы. Из живших тогда греческих полководцев Пирр был бесспорно первым. Среди войск, обученных греческой дисциплине, его эпироты занимали высокое место. Его поход в Италию стал поворотным пунктом в мировой истории. Он нашел там

народ, который, значительно уступая афинянам и коринфянам в изящных искусствах, в спекулятивных науках и во всех утонченностях жизни, был лучшим солдатом на земле. Их вооружение, ранги, боевой порядок, окопный метод - все это было латинского происхождения и постепенно доводилось до совершенства не по чужим образцам, а благодаря гению и опыту многих поколений великих отечественных полководцев. Первые слова, вырвавшиеся у короля, когда его опытный взгляд окинул римский лагерь, были полны смысла: "У этих варваров, - сказал он, - нет ничего варварского в их военном устройстве". Поначалу он одерживал победы, поскольку его собственные таланты превосходили таланты противостоявших ему полководцев, а римляне не были готовы к натиску восточных слонов, которые тогда впервые появились в Италии - движущиеся горы, с длинными змеями вместо рук. Но победы Эпиротов вызывали ожесточенные споры, дорого покупались и были совершенно невыгодны. В конце концов Маний Курий Дентат, который в свое первое консульство одержал два триумфа, был снова поставлен во главе Римского содружества и отправлен на завоевание захватчиков. Под Беневентом состоялась великая битва. Пирр был полностью разбит. Он отступил за море, и мир с изумлением узнал, что обнаружен народ, который в честном бою превосходит лучшие войска, обученные по системе Пармениона и Антигона.

Завоеватели имели полное право ликовать по поводу своего успеха, ведь слава принадлежала только им. Они не учились у своего врага, как его завоевать. Именно своим национальным оружием, в своей национальной боевой форме они победили оружие и тактику, которые долгое время считались непобедимыми. Пилум и меч победили македонское копье. Легион разбил македонскую фалангу. Даже слоны, когда удивление от их первого появления прошло, не смогли внести беспорядок в стойкие, но гибкие батальоны Рима. Флор утверждает, и в это можно легко поверить, что триумф превзошел по великолепию все, что Рим видел ранее. Единственными трофеями, которые могли выставить Папирий Курсор и Фабий Максим, были отары и стада, повозки грубой конструкции и груды копий и шлемов. Но теперь впервые богатства Азии и искусства Греции украсили римскую сцену. Тарелки, тонкие ткани, дорогая мебель, редкие животные, изысканные картины и скульптуры составляли часть процессии. На пир собиралась толпа воинов и государственных деятелей, среди которых Маний Курий Дентат занимал самое высокое место. Кай Фабриций Лусцин, который после двух консульств и двух триумфов стал цензором Содружества, несомненно, занял бы почетное место в совете. В менее заметных положениях, вероятно, находились некоторые из тех, кто несколько лет спустя стал ужасом Карфагена: Кай Дуилий, основатель морского величия своей страны; Марк Атилий Регул, который своим поражением обязан славе, гораздо более высокой, чем та, которую он добыл своими победами; Кай Лутаций Катала, который, страдая от тяжелой раны, сражался в великой битве при Эатесе и довел Первую Пуническую войну до триумфального завершения. Невозможно перечислить имена этих выдающихся граждан, не подумав о том, что все они без исключения были плебеями и, если бы не памятная борьба, которую вели Кай Лициний и Луций Секстий, были бы обречены скрывать в неизвестности или растрачивать в гражданских распрях способности и энергию, которые преобладали в борьбе с Пирром и Гамилькаром.

Можно предположить, что в такой день патриотический энтузиазм латинского поэта вылился бы в многократные крики "Io triumphe", подобные тем, что произносил Гораций по гораздо менее волнующему поводу, и в хвастовство, напоминающее то, что Вергилий вложил в уста Анхиза. Превосходство некоторых иностранных народов, особенно греков, в ленивых искусствах мира, было бы признано с презрительной откровенностью; но первенство во всех качествах, которые подходят народу для покорения и управления человечеством, было бы заявлено за римлянами.

Следующий рассказ относится к последней эпохе латинской балладной поэзии. Нэвис и Ливий Андроник, вероятно, были среди детей, чьи матери держали их на руках, чтобы увидеть проезжающую колесницу Курия. Менестрель, певший в тот день, возможно, дожил до первых гекзаметров Энния и первых комедий Плавта. Его поэма, как и следовало ожидать, демонстрирует гораздо более широкое знакомство с географией, нравами и продукцией отдаленных народов, чем можно было бы найти в сочинениях эпохи Камилла. Но он мало беспокоится о датах и, слыша, как путешественники с восхищением рассказывают о Колоссе Родосском, о строениях и садах, которыми македонский царь Сирии украсил свою резиденцию на берегу Оронта, никогда не задумывался о том, существовали ли эти вещи в эпоху Ромула.

Пророчество Каписа

Песня, исполненная на банкете в Капитолии в тот день, когда
Маний Курий Дентат, консул во второй раз, одержал победу над царем
Пирром и тарентинцами, в год города CCCCLXXIX.

I

Теперь убит царь Амулий,
из великого рода Сильвиев,
царствовавший в Альба-Лонге,
На троне Авентина.
Убит Понфиф Камерс,
произнесший слова гибели:
"Детей - в Тибр,
Мать - в гробницу".

II

В озере Альбы ни один рыбак
Не закидывает сегодня сеть;
На темной коре дубов Альбы
Сегодня не стучит топор;
Ярмо висит над яслями;
Коса лежит на сене:
Во всех деревнях Альба
Нет работы в этот день.

III

И каждый албанский мещанин
Надел свой самый белый халат;
И каждая голова в Альбе
Носит тополиный венец;
И каждый альбанский дверной столб
Ветвями и цветами украшен,
Ибо в этот день мертвые становятся живыми,
Потерянные обретают день.

IV

Они были обречены кровавым королем,
Их обрек на гибель лживый священник,
Они были брошены в бушующий поток,
Их выследил разъяренный зверь;
Буйный зверь и буйный потоп
одинаково пощадили добычу;
And to-day the dead are living,
Потерянные найдены.

V

Беспокойная река знала их,
И разгладила желтую пену,
И нежно качала колыбель.
В которой лежала судьба Рима.
Воронья волчица знала их,
И лизала их снова и снова,
И поила их своим свирепым молоком,
насыщенного сырой плотью и кровью.
Двадцать зим, двадцать весен,
С тех пор прошло двадцать зим, двадцать весен;
И сегодня мертвые живут:
Потерянные обретаются сегодня.

VI

Радостно было видеть близнецов,
Славных юношей и высоких,
Идут из Альба-Лонги
В зал их старого внука.
Вдоль их пути свежие гирлянды
развешаны от дерева к дереву:
Перед ними идут волынщики,
исполняя ноты ликования.

VII

Справа идет Ромул,
С руками до локтей красными,
И в руке у него меч,
А на лезвии - голова.
Голова в железном шлеме,
С конскими волосами, свисающими вниз,
Лохматая голова, смуглая голова,
С ужасным хмурым взглядом...
Голова короля Амулиуса

Из великого рода Сильвиев,
Который царствовал в Альба-Лонге,
На троне Авентина.

VIII

По левую сторону идет Ремус,
С запястьями и пальцами красными,
И в руке у него копье вепря,
А на острие - голова.
Голова морщинистая и старческая,
С серебряной бородой и волосами,
И святые филейные части вокруг,
Такие носят понтифики.
Голова древнего Камерса,
Который произнес слова гибели:
"Детей - в Тибр;
Мать - в гробницу".

IX

Двое и двое за близнецами
Идут их верные товарищи,
Четыре и сорок доблестных мужчин,
С дубиной, топором и луком.
С каждой стороны каждая деревня
Выходит радостная толпа,
Кричащие мальчишки и брешущие собаки,
И дети громко смеются,
А старики плачут от умиления.
Когда мальчишки Реи проходят мимо,
И девы, что вскрикивают, увидев головы,
Но, крича, все ближе подбегают.

X

Так шли они вдоль озера;
Они шли мимо складов и стойл,
По кукурузным полям и виноградникам,
К залу старика.

XI

В воротах зала сидел Капис,
Капис, незрячий провидец;
С головы до ног он дрожал
Когда Ромул приблизился.
И встали дыбом его тонкие белые волосы,
И слепые глаза его вспыхнули огнем:

"Радуйся, дитя дивной кормилицы!
Радуйся, сын дивного отца!"

XII

"Но ты - что ты здесь делаешь?
В мирном зале старика?
Что делает орел в курятнике,
Зубр в стойле?
Наша кукуруза наполняет многие амбары;
Наши лозы обнимают многие деревья;
Наши стада белеют на многих холмах:
Но это не для тебя.

XIII

"Для тебя не созревает сокровище
В тартессийской шахте;
Для тебя не привозит корабль драгоценные тюки
Через ливийский рассол;
Ты не должен пить из янтаря;
Ты не должен отдыхать на земле;
Аравия не укроет локоны твои,
И Сидон не окрасит твой наряд.

XIV

"Оставь золото, мирру и драгоценности,
Богатый стол и мягкую постель,
Тем, кто от мужского семени рожден,
Кого вскормила женщина молоком.
Ты создан не для корысти,
Ни для удовольствий, ни для отдыха;
Ты, что произошел из чресл Бога Войны,
И прильнул к груди волчицы.

XV

"От восхода до заката
Вся земля услышит славу твою:
Славный город ты построишь,
И назовешь его именем своим:
И там, неугасимый в веках,
Как священный огонь Весты,
Будет жить дух кормилицы твоей,
Дух сира твоего.

XVI

"Вол трудится в борозде,
Повинуясь поводьям;
Терпеливый осел по каменистым тропам
Идет с усталым грузом своим:
С воем и упряжью спаниель
К свистку хозяина прислушивается;
И овца терпеливо подчиняется
Под громкий стук ножниц.

XVII

"Но кормилица твоя не услышит хозяина,
Кормилица твоя не понесет груза;
И горе тем, кто стрижет ее,
И горе тем, кто ее стрижет, И горе тем, кто ее понукает!
Когда вся стая, громко бляя,
Окружает ее кровавое логово,
Она умирает в тишине, сильно кусаясь,
среди умирающих гончих.

XVIII

"Помона любит фруктовый сад;
А Либер любит виноградник;
А Палес любит соломенный сарай.
Согретый дыханием коров;
А Венера любит шепот
Юноши и девы,
В лунном свете апрельской слоновой кости
Под каштановой тенью.

XIX

"Но отцу твоему по нраву столкновение
мечей и щитов:
Он любит пить пар, что клубится
От свежего поля боя:
Он улыбается улыбкой более страшной.
Чем его собственный ужасный хмурый взгляд,
Когда он видит, как густое черное облако дыма
поднимается от завоеванного города.

XX

"И такой, как бог войны,
Автор рода твоего,
И такая, как та, что вскормила тебя,
Таковыми будут и ты, и ты.
Оставь мягким кампанцам

Его бани и духи;
Оставьте гнусной расе Тира
Их красильные чаны и ткацкие станки;
Оставьте сынам Карфагена
Руль и весло;
Оставьте греку его мраморных Нимф
И свитки словесных повествований.

XXI

"Твой, римлянин, пилум:
Римлянин, меч твой,
Ровный окоп, оцетинившийся курган,
Легиона строй;
И триумфальные колеса твои,
Которые с лавровым шлейфом
Медленно движутся по улицам с криками
К вечному огню Юпитера.

XXII

"Под игом твоим Вольскиан
Накроет свой возвышенный лоб;
Мягкий Капуи кудрявый пир
Перед креслами твоими склонятся:
Лукумы Арнуса
Дрогнут перед твоими прутьями;
И стальное сердце гордого самнита
Уступит только тебе.

XXIII

"Галл придет против тебя
Из страны снега и ночи;
Ты отдашь его светловолосые войска
Ворону и коршуну".

XXIV

"Грек придет против тебя,
Завоеватель Востока.
Рядом с ним идет на бой
Огромный зверь, сотрясающий землю,
Чудовище, на котором стоит замок
Со всей своей стражей стоит,
Зверь, у которого между глаз
Змеиная рука.
Первым марширует смелый Эпиротес,
тесно прижавшись друг к другу щитом и копьем.

И ряды ложного Тарентума
В тылу сверкают.

XXV

"Ряды лже-Тарентума
Как загнанные овцы, летят:
Напрасно смелые эпироты
Вокруг своих штандартов погибнут:
И серые стервятники Апеннин
Устроят знатный пир
На жире и глазах
Огромного зверя, сотрясающего землю.

XXVI

"Ура! За доброе оружие
Что хранят землю бога войны.
Ура! За крепкий римский пилум
В крепкой римской руке.
Ура короткому мечу Рима.
Что сквозь густой строй
Из выровненных копий и щитов.
Пробивает свой кровавый путь.

XXVII

"Ура! За великий триумф
Что растянулся на много миль.
Ура!
Которые идут бесконечной чередой.
Эй! Смелый Эпиротес, куда
Убежал ли красный царь?
Псы лживого Тарентума!
Не белое ли платье?

XXVIII

"Ура! Великий триумф!
Что простирается на много миль.
Ура! Богатые краски Тира,
И тонкой паутине Нила,
Шлемам, украшенным опереньем.
Сорванное с крыльев фазана,
Пояса, усыпанные звездными самоцветами.
Что блистали на индийских царях,
Урны из массивного серебра,
Кубки из грубого золота,
Многоцветные скрижали, яркие

Любви и войн былых времен,
Камень, который дышит и борется,
Медь, которая, кажется, говорит.
Такую хитрость те, кто живет на высоте
Дали греку.

XXIX

"Ура! Маний Курий,
храбрейшему сыну Рима,
Трижды посланный в крайней нужде,
Трижды с триумфом возвращался домой.
Соткать, соткать, для Мания Курия
Третье вышитое платье:
Приготовьте третью возвышенную машину,
И сплетите третью зеленую корону;
И запрягите коней Розеи
С шеями, как согнутый лук,
И нарядите быка, быка Мевании,
Быка, белого как снег.

XXX

"Благословен и трижды благословен тот римлянин.
Кто видит светлый день Рима,
Кто видит, как длинная победная помпа
По Священному пути,
И через шумный Форум,
И вокруг рощи Болельщиков,
До вечных ворот
Капитолийского Джова.

XXXI

"Там, где над двумя светлыми гаванями
Башни Коринфа хмурятся;
Где гигантский царь дня
На свой Родос глядит свысока;
Где часто рокошет Оронт
Под лавровыми тенями;
Где Нил отражает бесконечную длину
Темно-красных колоннад;
Где в тихой глубокой воде,
Укрытый от волн и ударов,
щетинится сумрачный лес
Тысячи мачт Бирсы;
Где охотники, одетые в меха, бродят
Среди северных льдов;
Где по песку утренней земли

Верблюд несет пряности;
Где Атлас бросает свою тень
Далеко над западной пеной,
Будет великий страх у всех, кто услышит
Могучее имя Рима".